

ПОСИДЕЛКИ НА ДМИТРОВКЕ

Выпуск седьмой



Коллектив авторов Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18912390

ISBN 978-5-4474-7236-8

Аннотация

«Посиделки на Дмитровке» – это седьмой сборник, созданный членами секции очерка и публицистики Московского союза литераторов. В книге представлены произведения самых разных жанров – от философских эссе до яркого лубка.

Особой темой в книге проходит война, потому что сборник готовился в год 70-летия Великой Победы. Много лет прошло с тех пор, но сколько еще осталось неизвестных событий, подвигов.

Сборник предназначен для широкого круга читателей.

Содержание

Предисловие	5
Ирина САПОЖНИКОВА	7
Одна хорошая квартира	7
Тамара АЛЕКСАНДРОВА	47
Мы едем, едем, едем...	47
Татьяна ПОЛИКАРПОВА	68
Когда бывает видно другое...	68
Сон о «девятом дне»	74
Как кричат птицы в начале мая	79
Наталия ЯСНИЦКАЯ	84
Стихи	84
Алла ЗУБОВА	95
Девочка среди войны	95
Сергей ПОНОМАРЁВ	131
Сказка о неразделённой любви	131
Двапистолета	134
В борьбе за это	140
Проулок Пономарёва	145
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Посиделки на Дмитровке

Выпуск седьмой

Редактор Л. Александрова

Редактор Т. Александрова

Редактор А. Дихтярь

Редактор Т. Поликарпова

Редактор Л. Тархова

Корректор Л. Кутукова

Составитель А. Зубова

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Однажды на наших традиционных «Посиделках», где мы рассказываем, какие статьи опубликовали, что нового узнали, что интересного видели, кто-то сказал: «Друзья, все, что мы сейчас слышали, это же замечательные сюжеты для большой книги!» Все с энтузиазмом подхватили идею сборника.

Но путь первопроходцев оказался долгим и тернистым: поначалу нас начисто ограбили мошенники, мы не могли найти издательства по нашим средствам, а когда нашли – вдруг исчезли рукописи. Но никакие обломы не остановили участников сборника. Да к тому же придал силы счастливый случай: нашелся диск с записью всех материалов. Книга вышла в свет. Это случилось десять лет тому назад. Так что нынешний, седьмой, сборник – своеобразный юбилей коллективной творческой работы секции очерка и публицистики.

Все эти годы наши литераторы активно издавали свои книги, печатались в газетах и журналах, вели передачи на радио и телевидении, устраивали книжные выставки, проводили встречи с читателями в ЦДРИ, библиотеках, в школах и вместе с тем готовили очередной выпуск «Посиделок на Дмитровке».

Особенность каждого сборника в том, что его авторы выступают в самых разных литературных жанрах – от философских эссе, биографических исследований, поэзии, мему-

аров до яркого лубка.

Этот сборник создавался в год 70-летия Великой Победы, и потому теме войны отведено в нем особое место. Как на ровном поле возвышаются памятники погибшим бойцам, так повествования о нашей многоликой мирной жизни перемежаются с рассказами и воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Много лет миновало с той поры, но сколько еще осталось неизвестных имен, событий, подвигов.

Десять лет участники нашей секции создавали для читателя интересные умные книги.

Итак, дорогой читатель, вручаем тебе плоды нашего труда.

Ирина САПОЖНИКОВА

Одна хорошая квартира Документальная повесть.

Дается в авторском сокращении

Москва, Центр – мое вечное место жительства. Когда мне доводится проходить мимо дома №6 на Тверской, я обязательно делаю несколько шагов под арку к «пряничному» дому во дворе, где жила моя подруга Светлана Орлова, и смотрю на окно на последнем этаже слева от центрального подъезда. Чего я ищу? Что значат для меня этот дом и та квартира за окном, давно отошедшая к чужим людям, и кто я для этого кусочка московской земли? Попробую рассказать, может быть, получится.

1. Мое раннее детство прошло в переулках между улицами Пушкинской (Б. Дмитровка) и Петровкой. В Дмитровском переулке я жила, на улице Москвина (Петровский переулок) стояла школа №635, в которую я пошла учиться. Естественно, что параллельные Столешников переулок и Кузнецкий мост были тоже включены в орбиту первых самостоятельных перемещений. Позднее мы переехали на улицу Гер-

цена (Б. Никитская) и тогда нашими стали все улицы и переулки – от Петровки до Воздвиженки. Мы носились по ним стайками (командами), честно оставляя позади себя мелкие стрелки, чтобы «противник» мог вычислить нас и настигнуть в каком-нибудь проходном дворе.

Пионерское воспитание я получила в 635-ой школе. Бесконечные сборы отрядов под дробь барабанов и звонкое пение пионерских песен, чтение патриотических стихов, дежурство под салютом около бюстов Ленина и Сталина были законной и едва ли не главной составляющей нашего начального образования. Отряды входили в зал в порядке успехов в учебе и общественной работе под пение «присвоенных» им пионерских маршей: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы, пионеры – дети рабочих» или «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». Детские сердца замирали, а потом учащенно бились от патриотического восторга. Под взглядами старшей пионервожатой Моти все отряды выглядели образцово-показательными, но мне запомнилась одна девочка, часто нарушавшая порядок равнения, так как невольно толкалась в строю и смеялась лучистыми синими глазами. Это была Светлана Орлова, хотя я не уверена, что тогда точно знала ее имя и фамилию, так как она училась на класс выше. Торжественные сборы, к которым неделями готовились всей школой, проводили на революционные праздники и памятные дни, методичной чередой проходив-

шие через наше сознание – Седьмое ноября, Пятое декабря, Двадцать третье декабря, Двадцать первое января, Восьмое марта, Двадцать второе апреля, Первое мая – и так от начала до конца учебного года. Может, именно потому от тех времен осталось ощущение, что жизнь – праздник.

2. Мои родители никак не реагировали на пионерский восторг своих детей (старшая сестра училась в той же школе). Свою задачу они видели в том, чтобы вовремя купить новый галстук, выгладить белый фартук, выдать требуемые школой деньги. Мой отец имел склонность к рисованию и музыке, но судьба (Октябрьская революция, социальное происхождение) позволила ему получить только инженерно-техническое образование. Он сутками напряженно и опасно работал беспартийным начальником в должности главного энергетика Московской государственной консерватории – уходил из дома рано, а возвращался поздно, и у него не было времени на наше воспитание. После того, как мы переехали с Дмитровки в правое жилое крыло Консерватории, понятия «дом – работа» стали для отца совершенно размытыми. Мы часто прибегали к нему в кабинет с проблемами или в Большой зал послушать музыку. Отец любил классическую музыку, классический театр, традиционную живопись. Еще он любил природу, но не как зоолог или ботаник, а исключительно как художник. Он постоянно останавливался, не важно, где – на лугу или в городской толкучке, и обра-

щался к нам: «Посмотрите, как красиво освещен коровник», или «как блестит лужа посреди мостовой», или «как воробей сидит на фонаре перед входом в Большой зал»; и еще много, много всего, только успевай оборачиваться и смотреть. Иногда, наоборот, он говорил: «Как некрасиво!», если наше, детей, поведение того стоило. Но это бывало редко, так как тут он вступал на «материнское поле».

Можно сказать, что моя мама положила всю себя полностью, все, что у нее было – красоту, молодость, здоровье, силы, образование, в конечном итоге жизнь – на алтарь безумного беспокойства за своих детей. Она происходила из старобрядческой семьи, но в отличие от своих родителей, не была ни религиозной, ни верующей, тем не менее дореволюционный уклад и консервативный образ мыслей существовал в ней, кажется, на генетическом уровне. Мы, дети, жили в системе запретов. Нельзя было ничего – поздно выходить из дому, знакомиться и есть на улице, опаздывать, ходить к подругам, громко разговаривать, тем более, смеяться, перебивать взрослых, приводить в дом кого-либо без разрешения, быстро есть за столом, трогать не свои вещи. Дальше перечислять нет смысла, легче назвать разрешенные действия: хорошо учиться, помогать по дому – мыть полы, посуду, вытирать пыль, покупать продукты, а в свободное время – читать художественную литературу. В кино желательно не ходить (лучше в театр). Даже спорт мама считала не очень приличным занятием – боялась дурного влияния беспризор-

ников, которые, как ей казалось, только одни и ходят в спортивные залы. Мамы давно нет, а я все еще вижу ее уничижительный взгляд и слышу: «Как неприлично, это просто неприлично», или: «Как ты не понимаешь, это неприлично!». Мама хорошо разбиралась в людях, большинства сторонилась, по отношению к другим проявляла тонкую деликатность. Себе она позволяла отступления от установленных для нас законов приличия, а на замечания отвечала жестко и коротко: «Яйца курицу не учат», таким образом, ставя стенку, проводя демаркационную линию – как хотите – между народами, называемыми детьми и взрослыми. С этим багажом материнского авторитаризма, с одной стороны, и отцовской любви к искусствам и творчеству – с другой, я окончила школу и подошла к опасному возрасту совершеннолетия.

Отец считал, что в Москве существуют только три ВУЗа: Консерватория, Архитектурный институт и Университет. Выбирай факультет в университете – и вперед! Я выбрала химический не без подсказки родственников – тогда у химии наметилось будущее лет на двадцать-тридцать вперед. Помните, хрущевское «...плюс химизация всей страны!».

3. Когда я появилась в группе на химическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, первое, что обнаружила – это знакомое с детства лицо Светланы Орловой из 635-ой школы. Сама я заканчивала бывшую мужскую 170-ю школу, рас-

положенную в том же дворе, но за высоченным забором, разделившим, как оказалось, не навсегда, детей *пополам*. Визуально мы были знакомы (детская память крепка), и это позволило нам мгновенно сблизиться. С нами оказались воспоминания о пионерском детстве, общих знакомых. При одном упоминании имени нашей старшей пионервожатой Моти (подхалимы звали ее Мотенька) наши рты расплывались до ушей от предвкушения будущего злословия. Мы с Орловой были обе по-настоящему влюблены в Галину Васильевну Клокову, учительницу истории, послужившую, кстати, прообразом героя В. Тихонова в фильме «Доживем до понедельника», снятого по сценарию Г. Полонского – школьного друга Светланы. Галина Васильевна была классным руководителем сначала у меня в пятом и шестом классах, а потом у Светланы – с восьмого по десятый. Общими были наши переулки и дворы, где жили школьные друзья, любимые магазины канцелярских принадлежностей на Пушкинской и в Столешниковом. Наконец, мы обе учились и закончили две из небольшого числа, может быть, самых элитных школ, имевшихся тогда в Москве. Наши школы, как «Гарвард» или «Оксфорд», были невольными источниками нашего единомыслия. Только одна начинала фразу, другой становилась понятной мысль – и серьезная, и юмор. Легкость, простота и интерес к взаимному общению сделали нас неразлучными.

Возвращаясь из университета, мы выходили обычно на конечной остановке 111-го автобуса, курсировавшего

между МГУ и площадью Революции. Мне следовало бы выходить на одну раньше, у Манежа, но Светка меня не отпускала, да и мне не хотелось так быстро расставаться. Мы поднимались по улице Горького до арки почти напротив Телеграфа, за которой находился ее дом, затем долго прощались. Светка убегала по ступенькам своего «пряничного» дома в подъезд, а я переходила на другую сторону Горького и почти бегом, наверстывая время, двигалась по Брюсову переулку на Герцена, мимо театра Маяковского – домой.

Часто в длинных беседах у подъезда Света рассказывала мне о своем доме – она живет в большой квартире с бабушкой, дедушкой, мамой, отчимом и сестрой-школьницей. Мама – критик, американист, работает в журнале «Иностранная литература». Отец – поэт, погиб на войне. Они учились вместе с мамой сначала в одной школе, все в той же 635-ой, потом в Институте философии и литературы. «Отчим – Лева, Лев Зиновьевич Копелев – **потрясающий** человек!» – так, исключительно в восклицательной форме, говорила о нем Светлана, делая ударение на слове «потрясающий». «Лева недавно вернулся из лагерной ссылки, у них с мамой большая любовь. Лева – крупный, красивый, невероятно образованный и умный. Он говорит примерно на пятнадцати языках, многие выучил в неволе. Его специальность – немецкий язык и литература – он переводчик, критик, литературовед». От Светланы я узнала, что в конце войны Лев Копелев входил в состав разведгруппы в качестве парламенте-

ра, двигался впереди наших войск, агитируя немцев сдаваться без боя. За взятие нашими войсками на полторы недели раньше намеченного срока без кровопролития крепости Грауденц в Восточной Пруссии майор Копелев был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени. Одновременно Лева выступал против грабежей и насилия, и вскоре после войны его посадили за «буржуазный гуманизм». Тюрьмы и лагеря забрали десять лет из отпущенной ему жизни – последние три года провел на «шарашке» вместе с А. И. Солженицыным, с которым был в ту пору дружен. С Левы Солженицын писал образ Рубина в романе «В круге первом».

Копелев вышел на свободу, сохранив веру в коммунистические идеалы. Я узнала все это о Леве до того, как познакомилась с ним лично, получила от Орловой восторженную готовую характеристику: Лева – потрясающий! – поверила ей на слово, и, что интересно, в дальнейшем у меня не было случая усомниться в правильности ее слов.

Однажды Светлана предложила подняться в квартиру и там доразговаривать. Я согласилась, хотя было уже около десяти вечера и рефлекторно щелкнуло: «Неприлично». Двадцать шагов под арку – и мы в подъезде задвинутого во двор старомосковского дома, типичного отсутствием лифта, огромностью лестничных площадок и бесконечностью маршей полувинтовых лестниц между этажами. Четвертый этаж оказался Монбланом, но нам по молодости он покорился без труда. С правой стороны огромная черная

дверь квартиры №201 и рядом с ней такое же огромное окно, выходящее из квартиры на лестничную площадку и потому покрашенное снизу. Все, что я запомнила в тот день, это просторная передняя, справа и слева заставленная обувью и завешанная, как говорил в таких случаях мой отец, до аншлага одеждой; при этом оставалось еще много места для одевательно-раздевательных маневров. Двойная стеклянная дверь справа уходила в бесконечный потолок и вела в комнату необозримых размеров. Комната освещалась сверху явно недостаточным количеством ватт, но я заметила в ней массивный буфет, шкаф размером с малогабаритную квартиру и длинный стол со стульями. Около стола большой мужчина, органично вписанный в обстановку, и маленькая изящная женщина разговаривали между собой. Света представила меня. Они легко кивнули не то мне, не то Светке, не прерывая разговора. Мне стало неловко, но Света сразу увела меня в закуток, выгороженный здесь же в большой комнате, называемой в доме столовой. В нем оказалось спальное ложе, застеленное шерстяным пледом. Света зажгла лампочку на стене, принесла чай и сушки. Стало светло и комфортно в Светкином собственном независимом пространстве. В двенадцать часов я выскочила на Горького и побежала по знакомому маршруту домой в Средний Кисловский переулок, куда нас в свое время переселили из Консерватории. В доме круглосуточно дежурила консьержка, и было не страшно возвращаться домой поздно.

В один из следующих заходов в квартиру на Горького я обнаружила, что в столовой на левой стене располагаются два выхода в узкий длинный коридор. Узким он был потому, что в нем вдоль стены, смежной со столовой, расположилось столько вещей, сколько позволено площадью за вычетом прохода для одного человека. Там были стеллажи с книгами и журналами, старые чемоданы, бабушкино зубо-врачебное кресло, дополнительные стулья. В коридор выходили двери еще двух комнат: первая почти такая же, как столовая – в ней жили бабушка и дедушка Светланы, другая поменьше, но она была закрыта. Первую комнату в квартире называли «родительской», вторую – «детской». Вспоминая разворачивавшуюся на моих глазах миграцию членов семейства по квартире, понимаю, что такое деление было вполне оправданно. Однажды из передней в коридор через столовую прошагал энергичной походкой невысокий плотный мужчина, не обратив на нас со Светой никакого внимания. Я взглядом спросила: «Кто это?». Света ответила, что Леша, мамин брат, и добавила: «У них там вещи». Я сразу поняла, что речь идет о «детской». Вскоре Раиса Давыдовна и Лева переехали в эту комнату, и столовая оказалась в нашем распоряжении. Но в отсутствие Светкиных родителей мы все чаще оказывались в их «детской» – небольшой, квадратной, с узким итальянским (без переплетов, не считая фрамуги с двумя полуарками) окном. Не помню никакой мебели, кроме раскладывающегося дивана, высокой «хемингуэевки», сделан-

ной на заказ под Левин рост, и подоконника, размер которого позволял быть и столом, и спальным местом. Помню, как Светлана открывала створки окна и ложилась поперек стены – голова свешивалась во двор, ступни оставались в комнате. Мы располагались в «детской» по-хозяйски – залезали с ногами на диван, раскладывали на нем книги и тетради. Обсуждение интегралов и окислительно-восстановительных реакций быстро соскальзывало на проблемы сначала мировые, потом личные.

4. В университете мы перемещались из одной аудитории в другую стайками. В перерывах между занятиями мы либо смеялись, либо пели: «Голубые просторы, голубые просторы, конца края нет; голубые просторы, голубые просторы – хорошо, когда сердцу восемнадцать лет!» (на следующий год пели «девятнадцать»). Мы пели громко, не стесняясь: «Не грусти и не плачь, как царевна Несмеяна – это глупое детство прощается с тобой». Но, кажется, сами не спешили его отпускать, радовались и смеялись, как дети. Смеялись над всем, над всеми и над собой особенно, вполне осознавая себя со стороны.

Я уходила из дома утром, а возвращалась очень поздно, так как почти каждый день заходила в квартиру на Горького. Мама мирилась с этим потому, что я объясняла свое «пропадание» у Орловой то отсутствием лекций, то учебника, то необходимостью заниматься вместе. Если честно, то

никаких занятий в ту пору я не помню, но они, наверное, все же были, ибо весеннюю сессию мы сдали на все пятерки. Безумно счастливые, мы со смехом выкатились из-за тяжелых дверей химфака и сбежали по широкой лестнице под песню Окуджавы: «Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста, шофер автобуса – мой лучший друг!». Света поехала в Жуковку, где ее родители снимали дачу, а я с мамой и младшей сестрой – под Днепропетровск опекать старшую сестру, проходившую учебную практику в экспедиции от Географического факультета.

5. У нас было принято звать друг друга «Светка – Ирка». Так меня называли и другие члены семейства – Светкина и Машина мама – Раиса Давыдовна, ее сестра Люся, которую я почти всегда заставляла в квартире, Лева и бабушка Сусанна Михайловна. Надо сказать, я долго стеснялась Раисы Давыдовны, просто как матери Светы, экстраполируя на нее свое понимание материнской функции в доме. Когда я видела серьезность или озабоченность на ее лице, то обязательно принимала их на свой счет. Слевой мне было проще с самого начала.

В студенческие годы у меня, как и у Светки, денег никаких не бывало, если не считать, что родители выдавали нам по рублю на обед в университете. При этом мы обе имели пагубную (для рубля) привычку брать такси, не дойдя двух шагов до метро. Если я прокатывала свой рубль, мы ели

на Светкин, если она, то на мой. Когда случилось так, что зеленый глаз-искуситель на «Волге» с шашечками лишал нас родительской ренты одновременно, мы выкручивались, как могли, иногда на грани фола: шли в *коммунистический* буфет (то есть берешь и не платишь) или заходили компанией в свободную аудиторию и Света быстро-быстро выигрывала рубль в преферанс.

Не надо говорить, что, приходя к Орловой, я ничего не приносила съестного, и, несмотря на глубокую убежденность Светланы в моем праве на обед, чувствовала за столом некоторую неловкость. Но главное мое страдание за столом заключалось в том, что я практически не понимала, о чем идет речь. Как будто она велась на иностранном языке. Я казалась себе полной идиоткой и полагала, что остальным тоже.

Прошло какое-то время, прежде чем до меня дошло, что в этом доме никого не бросает в жар от гостей, точнее пришельцев, они приходят к кому-то из членов семьи, не мешают остальным, и за это на них не обращают по пустякам внимания. Садиться за стол большой компанией в этом доме является не просто необходимой традицией литераторов, по большей части работающих дома, но могучей потребностью гостеприимства и общения. Здесь за столом в разное время на моих глазах перебивали многие известные, знаменитые, начинающие писатели и поэты (от Ф. Вигдоровой, В. Пановой до А. Солженицына и от Д. Самойлова до И. Брод-

ского), а также литературоведы, переводчики, критики. Их разговоры часто носили сугубо профессиональный характер и не требовали моего участия в них. Когда я, наконец, поняла, что никто меня не анатомирует, не рассматривает под микроскопом, а воспринимают просто как подругу Светланы, такую, какая есть, – я почувствовала атмосферу дома, и мои комплексы начали улетучиваться.

За обеденным столом никогда не видела меньше десяти человек, а по выходным насчитывала и поболее. Сусанна Михайловна в отсутствие домработницы сама разливает суп, самый обыкновенный, накладывает второе. Света мне как-то говорила, что бабушка, посчитав количество людей за столом, иногда просто добавляет в суп воды, чтобы всем хватило. На второе тоже все очень просто – макароны или картошка с мясом, рыба. Я садилась за этот стол бесчисленное число раз – очень хорошо помню огромную алюминиевую кастрюлю и большой половник из нержавеющей стали, помню тарелки и кружки, из которых ели и пили. В доме все было фундаментально, просто и функционально – ни хрусталя, ни серебра – ничего для красоты. Позволю себе сентенцию: человек живет и два-три раза в день ест. Вид накрытого посуды стола представляется мне положительным императивом жизни. Я столько раз видела посуду в квартире на Горького, что она запомнилась мне, как запоминается посуда в собственном доме.

6. Известные люди, «знаменитости» не были для Светки объектами специального интереса или наблюдения, скорее частью того мегаполиса, в котором она жила; в этом мы были с ней похожи, так как я несколько лет жила в правом корпусе Консерватории, и мне практически ежедневно приходилось здороваться с известными всей стране музыкантами.

Однажды мы со Светой не виделись целый день. Вечером она позвонила мне и очень просила побыстрее с нею встретиться. В ту пору за ней ухаживал наш однокурсник из Венгрии. Он ей не слишком нравился, но все равно было что обсудить. Я летела к ней по срочному вызову; взбежала на четвертый этаж, позвонила в дверь. Мне открыла Раиса Давыдовна. Я быстро спросила, где Света и, получив ответ, что на кухне, помчалась туда. Обсудив венгерского друга, мы перешли на другие темы. Света спросила: «Ты видела, кто был в передней, когда вошла?» Я ответила, что никого не видела, кроме Раисы Давыдовны. Светка захохотала: «Вот дура какая, мама слевой провожали Назыма Хикмета». Ну, да, знаменитый тогда на весь мир турецкий поэт Назым Хикмет, но я ни его, ни Левы не заметила, хотя вдвоем они занимали полпередней.

Среди близких друзей родителей Светланы был известный физик Иван Дмитриевич Рожанский. Он привез из Америки, как теперь бы сказали, систему – большую радиолу величиной с тумбочку для белья и с отличным стереозвучанием. Рожанский устраивал музыкальные «слушания» для

друзей. Как-то Света позвонила мне и «велела» срочно собираться – все идут к Рожанским слушать музыку.

Мы встретились с Орловой на улице Герцена, пересекли бульвары у Никитских ворот, сворачивали то налево, то направо и вошли в подъезд (кажется, он находился в Трубниковском переулке). Комната была заполнена людьми, партером устроившимися вокруг полированной коричневой тумбочки. Света бегло перечислила мне гостей и указала на плотного мужчину с крупной головой: «Это гений, Вячеслав Всеволодович Иванов, сын знаменитого пролетарского писателя Всеволода Иванова, но, главное, сам большой ученый, семантик, действительный член академий всего мира, кроме, конечно, отечественной, поскольку выступил в защиту Пастернака». Еще одна готовая характеристика, которую не пришлось пересматривать.

Мы сели со Светой рядом и, выдержав три минуты, начали болтать, прячась за Левиной спиной. Светка не была такой любительницей классической музыки, чтобы высидеть сорок минут на стуле, слушая симфонию Малера, а мне это все в пятистах метрах от консерватории показалось странно-ватым, и, воспользовавшись каким-то техническим моментом, мы, радостные, выскочили на улицу.

7. Пятого января, несмотря на сессию, морозы и другие катаклизмы, отмечали день Светкиного рождения. В доме любили дни рождения. К ним готовились и хозяйева, и го-

сти. Нельзя сказать, что это были пышные или торжественные праздники – неподходящие эпитеты. Просто были не нарушаемые традиции, следуя которым гости и хозяйева делали себе Праздник. Во-первых, приходили все, кто считался другом. Народ шел с семи вечера, последний гость мог прийти в одиннадцать. Во-вторых, на столе должно было быть столько еды, чтобы никто не ушел голодным. Покупали много гастрономии, солений, делали винегрет, варили картошку. Из глубины большого буфета доставали посуду тридцатых годов – судки, супницы, блюда, тарелки. Откуда-то появлялось нужное количество разномастных вилок, ложек и чашек. За большой стол в столовой садилось человек двадцать, не поспевшие вовремя втискивались дополнительно. Всегда присутствовали Светкины многочисленные сестры – родные, сводные, двоюродные; тети и дяди, школьные подруги, многих из которых я визуально помнила, ребята из класса, учительница истории Галина Васильевна, потом университетские друзья, близкие друзья родителей и их дети; но впереди всех нужно назвать Наташу Горину, подругу еще с детского сада. Стоял веселый гвалт, Раиса Давыдовна стремилась вымыть посуду, не дожидаясь конца застолья и, несмотря на бурные Светкины протесты, потихоньку утаскивала на кухню пустые тарелки. Когда с трапезой более или менее было покончено, с удовольствием пели всё, что знали, особенно песни Окуджавы и Галича. Лева и Раиса Давыдовна пели вместе с нами, и это придавало атмосфере еще боль-

шую раскованность.

8. В квартире на Горького я познакомилась с самиздатом. Первое конспиративное чтение врезалось в память остротой полученного впечатления. Мне выдали потрепанную папку с листами желтой бумаги – воспоминания матери Василия Аксёнова об аресте и лагерях, известные потом под названием «Крутой маршрут». Выносить из квартиры эту папку, разумеется, нельзя, и я читаю ее, сидя в столовой. Тусклый свет с потолка падает на страницы четвертого или пятого экземпляра машинописного текста, но письмо такое захватывающее, что «слепые» страницы легко перескакивают с одной стороны папки на другую. Ясно, что я не должна об этой рукописи никому рассказывать, мне доверяют, и я знаю, что не напрасно.

На протяжении десяти лет мы снимали дачу в Малоярославце, родине моих родителей. Это деревянный городок в 123 км от Москвы, утопающий в сирени и вишневых садах. Здесь селилась освобождавшаяся из лагерей интеллигенция со штампом «101-й км», снимая у обедневшего после войн и революции люда теплую комнату. В доме, где наша семья занимала площадь на лето, жила Варвара Викторовна Рожкова, арестованная в тридцать седьмом в своей московской квартире на Б. Молчановке вслед за мужем, крупным военным конструктором, трудившимся над созданием знаменитого в будущем отечественного танка. Она, как все, да-

ла подписку о «неразглашении», но, познакомившись с мамой, не стала сдерживаться. Они часами шептались на террасе, и я кое-что слышала, крутясь около них. Мама бросала на меня страшные взгляды и приказывала: «Не смей никому рассказывать!»

В рукописи я нашла узнаваемые ситуации, лица, недослышанные подробности. Меня изумило совпадение исповедей Евгении Гинзбург и нашей знакомой, как будто их везли в одном фургоне, они жили в одном бараке, один и тот же мальчик остался дома после ареста матери.

9. Осенью 1960 года умер дедушка Светланы. Я знала от Светы, что он был ей вместо отца. В том же году произошло событие противоположного свойства. Света познакомилась, влюбилась и вышла замуж. Женя Герф, ее муж, к этому времени окончил Второй медицинский институт и со специальностью патологоанатома был неотвратно распределен в казахский город Гурьев. Оставив пока университет, Света последовала за ним к безусловному огорчению не противящихся домочадцев.

Света и Женя вернулись в Москву где-то в конце зимы следующего года. Вскоре после их возвращения большую комнату перестроили: для молодоженов выгородили одну небольшую, метров 13—15, комнату, которая поглотила оба имевшихся в столовой больших окна, правда, выходящих на север, да еще во двор-колодец. Новая комната стала впол-

не светлой, так как для нее этих окон оказалось достаточно. Одежный шкаф, поставленный как продолжение новой, параллельной окнам, стены, в свою очередь выделил кусок площади с окном на лестничной площадке. В этом закутке надолго обосновалась Светкина младшая сестра Маша. Общая столовая, вполне сохранившая свои габариты после перестройки, перешла на электрическое освещение. Сусанна Михайловна после смерти мужа переселилась в «детскую», уступив свою большую («родительскую») комнату Раисе Давыдовне и Леве.

В доме остался прежний уклад, только народу стало приходиться еще больше. Бывая и днем и вечером, я всегда заставала в квартире Люсю или ее детей – двоюродных сестер Светы. Часто приходили дочери Левы Лена и Майя со своими мужьями и подругами. Непрерывной чередой шли Светкины одноклассники, университетские подруги из старой группы и, конечно, из новой. Приходили друзья Жени, бывшие однокурсники из большой веселой компании – Кирилл Гринберг, Витя Гиндилис, Татьяна Сиряченко, Марина и Игорь Затевахины и многие другие. Параллельным курсом шли писатели и критики – друзья и знакомые Светкиных родителей. И так – «...то вместе, то поврозь, а то попеременно» – мы осуществляли нашествие на квартиру.

10. Выстроенные в большой комнате стенки были «прозрачными» для звука, и потому из столовой жизнь незаметно

переместилась на кухню. Кухня в квартире была большой, хотя третью часть ее занимала ванна, отделенная от окружающей среды толстой клеенчатой занавеской. Большое окно в торце кухни глядело, как в столовой, во двор-колодец. Квадратный деревянный стол устроился у стены напротив ванны. Он был покрыт обыкновенной клеенкой и располагал к длительным беседам. Помню, как-то мы сидели со Светой на кухне и пили чай. Вошел Лева, попросил тоже чаю, сел за стол. Сразу начался (или продолжился) разговор о государственном устройстве. Лева стал доказывать нам преимущества социализма, цитировал наизусть почему-то Каутского, французских социалистов, вставлял цитаты на немецком языке и, допив чай, ушел из кухни победителем, хотя в ту пору мы тоже были «за».

Теперь, приходя к Орловой, я сразу шла на кухню. В этом пространстве, лишенном какого-либо внешнего украшения, ощущение внутреннего комфорта возникало мгновенно, как будто оно исходило непосредственно от нелепого присутствия ванны, от прочного стола, от куска хлеба и горячего чая. На кухне уже сидел кто-нибудь из ближайших друзей Жени – Кирилл или Витя – и плелась вязь интересных разговоров. Все трое еще в Институте подпольно изучали генетику и теперь в только что разрешенную науку вошли «знатоками». В. Гиндилис поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии АН СССР, а К. Гринберг – на работу в лабораторию генетики человека, созданную во Вто-

ром мединституте. В скобках замечу, что Витя и Кирилл быстро защитили диссертации, что не удивительно, так как по своему уму, образованию, целеустремленности были приговорены к карьере крупных ученых. Женя, поколебавшись между наукой и искусством, устроился врачом скорой помощи, чтобы иметь время для реализации творческих склонностей к рисованию, музыке, поэзии.

Теперь в общих разговорах помимо искусства и политики все чаще звучали проблемы естествознания. Однажды кто-то из троицы (Витя, Кирилл, Женя) высказался в том духе, что никакого прогресса человечества не существует. Мы со Светкой ринулись в бой за диалектическую спираль, впаянную в наше сознание школьными и университетскими историками материализма. Но мысль нам показалась парадоксальной и заставила задуматься. Спорили долго, сошлись на отсутствии прогресса на уровне биологического развития. (Впоследствии представление о диалектике и прогрессе вошло в мое мировоззрение именно в том варианте, как оно было выработано тогда на кухне квартиры 201.)

Женя был старше нас со Светой и часто подсмеивался над нами, нашими взглядами, особенно над нашими песнями. «Словно стала ты жар-птицей, улыбаясь, смотришь на меня» – мы пели, не задумываясь над текстом. Женя признался, что как патологоанатом он готов многое себе представить, только не то, как птица может улыбаться. Женя владел искусством юмора, наверное, как Паганини – скрипкой.

Он ходил почти всегда с мрачным выражением на лице, но умел мгновенно нас рассмешить, изрекая очередной афоризм, при этом позволял себе засмеяться только глазами, чуть-чуть скривив в улыбке губы. От этого эффект от шутки был еще сильнее, и мы от души хохотали. Света долго собиралась завести «амбарную» книгу для изречений Жени.

11. В доме спонтанно возникали споры о религии. Женя выступал в роли просветителя, успев непонятным образом приобрести кое-какие знания. Я путалась в авторах Евангелия, и однажды Раиса Давыдовна вынесла из своей комнаты большую книгу в темном коленкоре с серебряным тиснением. Это была Библия, изданная Союзом писателей СССР тиражом 2000 экземпляров. Выносить из квартиры нельзя; я сижу в столовой и впервые в жизни листаю Библию. Помню, что сижу спиной к входу в комнату Светы и Жени. Почему-то врезаются в память такие несущественные подробности, хотя, возможно, именно они – освещение, звуки, места расположения – являются реперными точками памяти, за которыми хранятся события. Во всяком случае, я и сейчас вижу себя с Библией в руках и помню то почти сакральное чувство, которое испытываю при соприкосновении с Книгой. Мне, наконец, открывается структура древнего писания, но на этом – все: Раиса Давыдовна уносит книгу – ее не прочитаешь залпом за одну ночь или день, как мы привыкли читать самиздатовскую литературу. Позже, в восьмидесятых

годах, мой муж, рискуя многим, нелегально привезет мне из Польши для медленного чтения Библию, изданную в Ватикане, но тогда, в шестидесятых, подержав в руках Книгу, я получила необъяснимый импульс для собственной духовной работы. В моем доме, как оказалось, тоже имелась Библия, напечатанная на русском языке еще до революции, но мама на всякий случай прятала ее от всех за пианино.

12. Со Светкиным замужеством прибавился еще один день рождения, который отмечали, и мы, друзья дома, эгоистично радовались этому.

Женя родился девятого июня, это был последний праздник сезона перед разъездом на каникулы, и веселье растягивалось до утра. К устоявшимся традициям дома добавилось немного медицинского цинизма и юмора, нового народа и песен, сочиненных Женей в студенческие годы: «Лейся, лейся, марганцовка, ты прекрасна, как рассвет, раз – спринцовка, два – спринцовка – гонококка больше нет». Я запомнила эти дни рождения, вероятно, благодаря свету, которого в июне очень много; он лился из всех углов и щелей, заполнял собой всю квартиру, и даже в столовой электричество не включали до самого вечера.

Однажды день 9 июня совпал с экзаменом, кажется, на четвертом курсе. Мы вышли с однокурсницей Наташей с химфака, и я посетовала, что не успела купить подарок для Жени. Она сказала: «Пойдем, покажу тебе, где можно

нарвать шикарный букет». Мы прошли через центральное здание МГУ, вышли на площадь с цветами и фонтанами и двинулись в сторону Ленинских гор. Не доходя трех метров до Ломоносовского проспекта и пяти – до будки с милиционером, Наташа остановила меня перед полем распустившихся садовых маков. Размер каждого цветка был с детскую головку, толщина ножки – сантиметра полтора. Красота этих цветов, покрывавших газон на нескольких сотках, была почти гротеском. Наталья скомандовала энергично: «Рви!» Я показала ей на милицейскую будку и спросила: «Ты что, с ума сошла?» Но в этот самый момент, как под гипнозом желания, огромная черно-коричневая туча заволокла все небо и спустилась так низко, что закрыла стеклянную часть будки, затем и мы с Наташей стали едва различать друг друга. Дальше – классика, сверкнула молния, грянул гром и на нас опрокинулся поток теплой и, казалось, мутной воды, в одну минуту заливший нам волосы, платья, обувь. Под этим молочно-белым дождем мы рвали и рвали красные маки, пока охалка этих чудо-растений не оказалась в моих руках. Дождь чуть-чуть ослабил конспиративный напор, и мы увидели прямо перед собой зеленый глаз такси, тут же остановившегося на наши призывные взмахи. Уже сидя в машине рядом с милицейской будкой, я успела заметить, что по ее стеклянной части все еще выются мутные водяные жгуты.

Я остановила такси перед аркой на Горького, мокрая вошла в квартиру и отдала букет. Женя тут же достал краски,

картон и сел рисовать, пока не пришли гости. Он сделал рисунки в нескольких ракурсах, и один из них спустя несколько лет подарил мне.

13. Году в шестьдесят втором на Горького появился Юра Коваль, замечательный потом детский писатель. Он приходил часто, но по какому-то своему рваному ритму. Коваль подружился с Женей, и ему явно пришлась по душе вся наша компания. Он обладал сильным и красивым баритоном, профессионально играл на гитаре и с удовольствием пел для нас и, наверное, для себя одновременно. Но об этой грани его талантливой личности нужно писать отдельно. Еще Коваль был художником (помимо литературного, он закончил художественный факультет в МГПИ имени Ленина). Поражало то, что стилю его живописи не находилось стандартного сравнения – настолько картины были самобытными – красочными, очень светлыми и радостными. Но главным его занятием была литература. Можно добавить, что он был красив и артистичен (его несколько раз снимали в кино, например, в популярном фильме «Улица Ньютона, дом 1»). Коваль внес в квартиру на Горького атмосферу богемы в самом хорошем смысле этого слова.

Как только он появлялся, возникало импровизированное застолье, а Светка немедленно обзванивала всех, чтобы быстро приходили – Коваль будет петь. Репертуар Коваля был своеобразен: он пел либо юмористические, невесть кем

написанные, либо откровенно народные песни. Не пел бардов, не только Кима или Визбора, с которыми вместе учился в Институте, но и Окуджаву. Высоцкий тогда только начинал, и его блатная лирика не пользовалась успехом в нашей компании, вероятно, не без влияния Ковалья, исповедовавшего более тонкую эстетику. Помимо голоса, юмора, куража, притягательность пения Ковалья заключалась в импровизациях. К известной песне он мог прибавить от себя какой-нибудь куплет с неожиданной лексикой, или вставить свое отношение к содержанию – «дядя Юра вам ответит...», или обратиться к кому-нибудь из присутствующих – «а вот спросим дядю Женю...», что, конечно, приводило в восторг и заводило компанию.

Иногда Коваль приходил на Горького со своим другом Владимиром Лемпортом, и тогда они играли на гитарах в четыре руки из репертуара испанской классики. Акустика большой комнаты позволяла полное звучание, и было ощущение настоящего концерта. Лемпорт работал вместе с другими скульпторами – Вадимом Сидуром и Николаем Силисом в одной мастерской, и бывало, что застолье и концерты переносили к ним, но чаще, наоборот, из мастерской – на Горького.

Мне запомнилось одно длинное субботнее застолье. Пили сухое вино, водку, дымили сигаретами. Коваль много играл на гитаре, пел, в перерывах разговаривали. В этот день Коваль постоянно пробовал словосочетание «рыба Язь». Он

и так, и эдак, вертел его на языке и просил одобрения своим восторгам по поводу необычного названия рыбы – «Язь». Потом, спустя лет пятнадцать, когда мой сын не расставался с книгами Ковалю, просил читать ему их еще и еще раз, я набрела на слова, которыми заканчивался один из его рассказов: «...озеро, в котором водилась рыба со странным названием Язь» (цитирую по памяти). Я не раз слышала, как Коваль говорил в нашей компании с грустной усмешкой: «Вот увидите, я стану классиком детской литературы». В этих словах была заключена истинная правда. Без какого-либо снобизма он констатировал факт будущего события, известный пока ему одному.

Были зимние каникулы. Уходя в тот день домой, я подумала, что настала пора покататься на лыжах и подышать свежим воздухом. Шагая по Брюсову переулку, я была полна решимости уговорить и своих друзей, обитателей квартиры. Не потеряв этой решимости за ночь, я надела какой-то безумный (какой был) лыжный костюм, взяла свои лыжи и в таком виде притащилась на Горького часов в одиннадцать утра. Кто-то впустил меня, из столовой доносились негромкие голоса. Я вошла и открыла рот для агитации. Коваль, сидящий за столом как бы со вчерашнего дня, приложил палец ко рту, останавливая меня. За столом продолжал сидеть вчерашний народ и успел набежать новый, на полу стоял ящик с бутылками пива, половина которых была уже вынута. В комнате полумрак, в основном из-за сигаретного ту-

мана. Женя читал только что написанные стихи: «Я так свободен, как фонарный столб – ржаветь, я так свободен, как человек свободен умереть». Я тихо пробралась на пододвинутый стул, мне налили пиво, дали сигарету. В час ночи я вернулась домой на Кисловский с помойкой во рту, книгой Камю «Иностранец» и лыжами на плечах. На языке завертелась фраза из стихотворения И. Северянина: «Ты ко мне не вернешься, на тебе теперь бархат, он скрывает бескрылье утомленных плечей». Но это – не про меня ту, душа трудилась, получив новый импульс для экзистенциального погружения.

Надо сказать, что «экзистенциализм», как философское направление, трактующее иррациональную сущность бытия, вдруг получил в России распространение, правда, неофициальное и с отставанием на 20—30 лет от Западной Европы. Официальная философия, загнанная в узкие рамки материализма, не давала поводов для сомнений, тогда как новые течения побуждали к размышлениям. У нас возникали частые споры об иррациональной составляющей мыслительного и творческого процессов. На материальных позициях крепко стояли серьезные физики-электронщики, с другой стороны выступали Кирилл, Витя и Женя, начитавшиеся Камю, Хайдеггера и других экзистенциалистов. Юра Коваль в спорах не участвовал, но слушал очень внимательно, и было ясно, что он на стороне идеалистов, тогда как мы со Светкой – скорее, на стороне физиков.

Однажды Коваль после довольно долгого перерыва пришел на Горького. Он был «в ударе», играл, пел, острил, аккомпанировал нашему пению. Гром аккордов и хор голосов с трудом гасили метровые стены квартиры. Тонус беззаботного веселья поднялся на недостижимую высоту и заполнил своей атмосферой все вокруг. Мы «гудели» долго и только под утро устроились на запоздалый сон. Родители жили на даче, и квартира оставалась в нашем распоряжении. Коваль, который не пренебрегал возможностью переночевать, в этот раз ушел домой. Около часа дня нас разбудил звонок в дверь – пришел Коваль, расположился в столовой за столом, вызвал Женю и начал читать ему свой рассказ, законченный дома, пока мы спали. Пожалуй, именно тогда я поняла, что ритм его приходов целиком определялся состоянием творчества, требующим вдохновения, и он приходил за ним на Горького.

Иногда Коваль, неожиданно появляясь в квартире, вдруг в разговоре сообщал: «Завтра уеду на охоту». Тогда мы спрашивали его о предыдущих поездках, а он с радостью подробно отвечал. Где шел, что брал с собой, как устраивался на ночлег в лесу, какие посещали мысли. Меня особенно интересовал вопрос – боялся ли в одиночестве. В основном нет, не боялся. «А знаете, что самое страшное в лесу? – как-то спросил Юра. – Встретить человека» (по-моему, у него есть рассказ на эту тему).

Юрий Коваль появился на Горького вскоре после приез-

да из Татарии, куда был распределен учителем рисования и литературы. В Москву он вернулся с несколькими взрослыми рассказами и целой серией ярких живописных полотен. Скульпторы Лемпорт, Сидур, Силис приняли его живопись с восторгом и даже потеснились на время в своей мастерской. В отличие от художников тогдашнее снобистское писательское сообщество категорически отстранилось от таланта Ковалю, и ему пришлось самому пробивать себе путь в литературу, очень медленно, через маленькие издания типа «Мурзилки» или «Малыша», что в конечном итоге и оставило его в детской литературе.

Очевидно, что для каждого творца нужна почва, укрепляющая и питающая его. Думаю, не ошибусь, если скажу, что интеллектуальная атмосфера квартиры на Горького захватила Ковалю и стала на время питательной средой начинающего писателя.

14. К осени 63-го года мы были уже вполне взрослыми. Я работала по распределению в одном никчемном прикладном научно-исследовательском институте. Света готовилась родить сына Леню. Ребенку требовался свежий воздух, и мы с ней часто гуляли вместе по переулкам нашего детства.

Я рассказывала Светке о работе. Собственно, о ней рассказывать было нечего. В химическом отделе «наук» занимались пожилые тетеньки. С утра они ждали обеденного перерыва и, не дождавшись тридцати минут, бежали в мага-

зин. Вторую половину дня они ходили из комнаты в комнату, гордясь ухваченным мясом. Сами по себе женщины были неплохими, но вид разложенной ими на лабораторном столе говядины оскорблял мое возвышенное, только что полученное в университете представление о служении Музам. Зато в физическом корпусе нашего кино-фото института имелся большой современный кинозал, куда, бросая дела, стекался весь ученый народ, чтобы посмотреть последние фильмы американских и итальянских режиссеров, показываемых для изучения (!) качества пленок зарубежных фирм. На экранах страны шел хороший фильм «Девчата». Фильмы же «Космическая одиссея», «Затмение», «На последнем берегу», «Джюльетта и духи», «Евангелие от Матфея» (разумеется, вместе с качеством пленки и звука) казались приветом из Космоса. Я делилась со Светкой новыми впечатлениями – некоторые фильмы она тоже видела в ЦДЛ.

На этих прогулках Света рассказывала мне о своих разногласиях с Женей, тонкими трещинами уже лежащими на их отношениях. Исходив положенное время, мы поднимались в квартиру, я сдавала подругу мужу или Раисе Давыдовне и немедленно уходила, несмотря на отчаянные призывы Светки посидеть хотя бы чуть-чуть.

После рождения Лени Сусанна Михайловна переехала в комнату при столовой, а Света, Женя и Леня поселились в «детской». Мне казалось, что нет ничего особенного в том, что Сусанна Михайловна уступает лучшую комнату, теперь

уже правнуку. Точнее, тогда мне ничего не казалось по этому поводу, все было само собой разумеющимся. У Светкиной бабушки было трое детей, шестеро внуков и их друзья, еще правнук – и всем надо было помочь по мере возможности.

15. Мы не заметили, как наступили другие времена, – вся страна стала «инакомыслящей». Покатилась волна политических процессов. Одни за другими шли суды над литераторами. Процессы над Даниэлем и Синявским, над Гинзбургом и Галансковым, над Бродским. Информацию можно было получить из самиздата и слухов, распространявшихся, как считалось, со скоростью 300 км/час. Мы стали больше времени проводить в «родительской» комнате, где жили Раиса Давыдовна и Лева; народ собирался послушать литературные и политические новости.

Как-то Света позвонила мне и «велела» вечером придти: «Приехал Бёлль, будем с ним фотографироваться». Не надо специально говорить о дружбе Левы и Раисы Давыдовны с немецким писателем – она широко известна.

Я позвонила в дверь, ее мгновенно открыл Лев Зиновьевич. Слева, прислонившись спиной к низкой двери чулана, стоял Генрих Бёлль. Было, похоже, что они присмотрели себе переднюю как самое удобное место поговорить в тишине. Лева помог мне раздеться и представил Бёллю сначала по-русски, потом по-немецки: «Это Ирка Сапожникова, моя дочка». Дочка, доца – так Лева называл всех Светкиных по-

друг на украинский манер. По-видимому, я была пятнадцатая за вечер, потому, что Бёлль засмеялся и что-то сказал на своем языке. Лева ответил, и они опять засмеялись. «Генрих пошутил относительно количества моих детей», – коротко пояснил мне Лева состоявшийся диалог.

Вся квартира была заполнена людьми, началась суета в поисках места и ракурса для того, чтобы всем сфотографироваться. Решили, что наиболее подходящей местом по освещенности будет комната при столовой. Все двинулись туда густой толпой, но я вдруг передумала и не пошла, решив, что это так же глупо, как собирать автографы. Теперь я думаю, что поступила неправильно, потому, что упустила возможность иметь свою фотографию рядом слевой и Раисой Давыдовой.

Светкины родители не были диссидентами, никогда не изменяли идеологии социализма, считая его залогом братства, равенства и справедливости. Пройдя войну и лагеря, Лева не обиделся на свою страну, но он был человеком совести и чести, убежденным правозащитником, резко выступившим за права осужденных литераторов на свободу выражать свои мысли. Вместе с Раисой Давыдовой они смело подписывали письма в защиту политзаключенных, навлекая гнев властей и угрозу репрессий. Спасая своих друзей, Бёлль прислал им приглашение в Германию на один год. Копелевы уехали туда в ноябре 1980 года с обратным билетом в Россию. Однако через два месяца их лишили советского

гражданства, которое вернули только в Горбачевские времена. Раиса Орлова и Лев Копелев были великими гуманистами, патриотами в духе Пушкина и Толстого, но тогда по молодости я этого не понимала.

16. В конце шестидесятых годов Раиса Давыдовна с Левой и Сусанной Михайловной переехала в кооперативный писательский дом у метро Аэропорт. Света осталась хозяйкой в квартире на Горького. Испытывая безденежье при зарплатах врача и младшего научного сотрудника, она приняла решение сдавать одну из комнат. Они с Женей заняли «родительскую», Леню перевезли в комнату при столовой, а «детская» на 6—8 часов в день начала заполняться для занятий с репетитором троечниками и отличниками, жаждущими высшего образования. Репетиторами оказались хорошо образованные физики-электронщики из закрытого Института во Фрязине; постепенно они переходили в друзья дома, и стиль жизни оставался прежним.

В этот период Орлова начала снабжать меня русской и западной литературой, не публикуемой в стране. Книги Камю, Пастернака, Платонова, Мандельштама, наконец, Набокова приоткрывали тот мир, который располагался за «железным занавесом». Света давала мне книги на сутки или двое, иногда без выноса, и тогда я не выходила из квартиры, пока не прочитаю.

Света мне не раз говорила, что у них на Горького живет

домовой, который бродит по ночам, не стесняясь. Как-то мне довелось провести несколько поздних часов в квартире одной. Так получилось, что Света ушла к родителям, Женя был на дежурстве, Леня и Тамара (несменяемая няня) – на даче, у жильцов – пересменка. И вот я лежу на тахте в «родительской» (теперь Светкиной) комнате с «Доктором Живаго» и слышу скрип паркета в столовой, отчетливые шаги по коридору, затем шуршание где-то рядом со мной. Мгновенно возникает желание натянуть плед на голову и таким образом спастись от пришельца. Но в этот момент задрезжал мотор включившегося на кухне холодильника, и все остальное стихло. Когда холодильник умолк, стало слышно, как кто-то настойчиво пробивается ко мне в комнату через потолок. Я отложила книгу, смело прошла по квартире, нашла клочок бумаги и написала хозяевам записку на случай, если погибну. Записка получилась в стихотворной форме и имела мистический оттенок. Листок потом быстро ушел в мусорное ведро, а в памяти осталась только первая строчка: «Слышу топот, стон и ропот...». Жалко, что не помню дальше, поскольку там почти протокольно были зарифмованы услышанные звуки «тишины». Очевидно, что дом стонал под грузом своей истории и давал информацию о себе доступным ему способом. Не зря в науке о свойствах твердых тел (металлов, полимеров, керамики) используют такие «живые» термины, как память, усталость, отдых, время жизни, предыстория.

Дом, в котором жила Света и ее большая семья, был построен в начале века, в 1905—1907 годах, в стиле модерн, замешанном на русских и мавританских мотивах, архитектором И. С. Кузнецовым и предназначался для Саввинского подворья, о чем и гласит табличка, давно прибитая к фасаду. Сам по себе дом огромен, поскольку состоит из двух трехподъездных корпусов, соединенных между собой тремя поперечными связками, за стеклами которых и размещаются винтовые лестницы с площадками величиной с танцзал.

Дом стоял на Тверской, и его оригинальный фасад с обилием лепки, витражей, с башенками и архитектурными окнами был доступен для обозрения. Перед войной в центре Москвы на улице Горького (бывшей и теперь опять Тверской) началось строительство домов для советской элиты – старых большевиков ленинского призыва, военных чинов, известных героев-полярников – летчиков и моряков; министров, их замов. Такой контингент получателей квартир мне хорошо известен, так как их дети и внуки учились со мной в одном классе. Так вот, чтобы выстроить в ряд «сталинские» здания от «Подарков» до «Арагви», дом «модерн» задвинули в глубь будущего двора – вырыли огромный котлован, подогнали рельсы под фундамент, и дом поехал на новое место. Сусанна Михайловна пережила этот момент в квартире. Она рассказывала: «Все было очень быстро, только чуть-чуть звякнула посуда в буфете». А для кирпича и штукатурки это было, может быть, великим переселением народов,

и они переживают его до сих пор.

Меня всегда интересовал вопрос, помнят ли стены Светкиного дома интеллектуальный и чувственный тонус нашей молодости, и если – да, то как они рассказывают об этом в ночи.

17. Мой рассказ подходит к завершению, но не потому, что иссякли воспоминания, напротив, потому, что им нет конца. На протяжении многих лет я была участником или свидетелем событий, происходящих непосредственно в доме, или стекающихся сюда для совместных переживаний. В начале семидесятых после рождения сына я перешла в Академический институт и начала серьезно заниматься наукой. Света разошлась с Женей, спустя время вышла замуж за Вячеслава Всеволодовича Иванова. Жизнь стала наполняться новым содержанием, но квартира на Горького еще долго терпела импровизированные застолья, песни Коваля, кухонные ночные бдения, праздники дней рождения.

Весной 1977 года Светлана разменяла квартиру на две. Устраивалась «ОТВАЛЬНАЯ» для всех друзей дома, абсолютно для всех, кто сможет прийти. Помню, что я, радуясь благополучному разрешению Светкиных личных проблем, загрустила: мне казалось, что вместе с квартирой на Горького я прощаюсь со своей затянувшейся молодостью, ощущаю (и не ошибаюсь), что в жизни больше не будет столько беззаботного смеха, веселья, радости, взаимопонимания. С таки-

ми смутными чувствами я в последний раз поднялась около четырех часов дня по винтовой лестнице вверх. Входная дверь была открыта; в передней, на кухне, в столовой – повсюду люди в возрасте от пятнадцати (Ленины друзья) до, наверное, семидесяти лет. Многих впервые вижу. Несколько человек в военной форме – «Лешины старые дворовые друзья» – объяснила Светлана. Стоял общий гул, сквозь который Лева и Раиса Давыдовна пытались что-то сказать друг другу с противоположных концов коридора. В «родительской» комнате пели «Бригантину». Я пошла туда. Впервые, именно в этой комнате, показавшейся мне огромной без привычной мебели, были накрыты столы, выстроенные по диагонали от правого окна до двери. Косой луч солнца, очевидно скользивший по фасаду на Горького в сторону запада, именно в этот момент попал через арку в окно и высветил диагональ знакомых и незнакомых лиц вместе с бутылками вина, водки, блюдами традиционных закусок – колбасы, сыра, селедки, огурцов, винегрета. Вспомнилась картинка из старого учебника по коллоидной химии: проникающий через щель луч конусом высвечивает мельчайшие частички, попадающие под него, – эффект Тиндаля. Я села на чье-то временно покинутое место и влилась в застолье, общий градус которого был уже высоким. Против меня сидел Леша, брат Раисы Давыдовны со своими друзьями. В руках у них были гитары. Леша умело дирижировал «сводным» хором – он то играл на гитаре, то энергично отбивал на ней ритм, раска-

чиваясь в такт песне. Когда перепели все застольные песни принялись за советские. Пели громко, самозабвенно, вкладывая в слова весь пафос прощания:

«...пу-усть он зе-е-млю бе-ре-жет род-ну-у-ю,
а лю-бо-овь Ка-тю-ша сбе-ре-же-ет!»

Люди приходили, подсаживались к столу, поднимали рюмки за прошлое и будущее и мгновенно вступали в хор:

«...вижу о-очи твои ка-а-ри-е,
слы-ы-шу тво-ой ве-се-лый сме-ех,
хо-ро-ша-а стра-на Бол-га-а-рия,
а-а Рос-си-я лучше все-е-х!»

Мне пора было домой к сыну. «Луч Тиндаля», казалось, проник за мной в переднюю, догнал у подъезда и высвечивал меня, пока я проделывала в последний раз путь по Брюсу, мимо Консерватории, театра Маяковского до своего дома на Кисловском. В ушах отчаянно гремело: «Хо-ро-ша-а стра-на Болга-а-рия, а Россия лучше всех!».

Тамара АЛЕКСАНДРОВА

Мы едем, едем, едем... В пространстве и времени

Уголок старой Москвы, тенистый, с деревьями-старожилами. Это и в самом деле уголок – угол, образованный двумя лучами: Новинским бульваром и впадающей в него улицей Поварской. Здесь многое связано с историей нашей литературы. И разные события, сюжеты переплелись самым невероятным – романным, можно сказать, – образом. Правда, стань они основой романа, читатель мог бы не поверить в их реальность.

«Почти каждый раз, когда меня упрекали в невероятности описанных событий, – события эти бывали взяты целиком из жизни» – это слова удивительной писательницы Тэффи. Давний интерес к ней и привел меня сюда. Надежда Александровна, Наденька Лохвицкая, жила на Новинском бульваре, в семидесятые-восемидесятые годы позапрошлого века.

«И я хорошо знаю, какая я была. Когда мы спускались по парадной лестнице, на площадке в большом зеркале отражалась девочка в каракулевой шубке, белых гамашах и бе-

лом башлыке с золотым галуном. А когда девочка высоко подымала ногу, то видны были красные фланелевые штаны. Тогда все дети носили такие красные штаны. А за ее плечом отражалась такая же фигурка, только поменьше и пошире. Младшая сестра.

Помню, мы играли на бульваре, все такие маленькие девочки. Остановились как-то господин с дамой, смотрели на нас, улыбались.

– Мне нравится эта в чепчике, – сказала дама, указывая на меня.

Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас же сделала круглые глаза и вытянула губы трубой – вот, мол, какая я чудесная <...> Я, значит, была честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. Честолюбие – сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, пожалуй, проорала что-нибудь на весь мир. <...>

И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, будто льют воду из узкого флакончика, и вода пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топтать ногами. И мокрый песок блестит хрусталиками, как мелкий сахар, так что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напитались воздухом. А сбоку, у дорожки, тонкий зеленый стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кружатся барашками. Как на картинке в моей книжке про девочку Дюймовочку. И воробьи суетятся, и дети кричат, и все это подмечается одновременно и безраздельно, все вместе, и выражается

одним возгласом: «Не хочу домой!»

Это строки из пронзительного рассказа Тэффи «И времени не стало». Надежда Александровна включила его в свою последнюю прижизненную книгу «Земная радуга», вышедшую в Нью-Йорке в 1952 году. Рассказ с причудливым сюжетом: переплетаются сон, явь – то, что хранится в сердце всю жизнь и поддерживает в самые отчаянные минуты.

Какой гимн пропела она милому Новинскому бульвару! В отличие от ее родного Петербурга (там родилась, там обрела свое литературное имя Тэффи) с регулярными, сплошь каменными улицами и дворами-колодцами, патриархальная Москва тонула в буйстве зелени – сады, палисадники, бульвары...

От Новинского бульвара осталось лишь название. Еще в тридцатые годы прошлого века он утратил свою благодатную суть, стал частью напряженной автомагистрали, Садового кольца: асфальт, поток машин, ныряющих в туннель под Новый Арбат. Даже воображению не вернуть сюда липы или сирень, птичий гомон, не представить тонкий зеленый стебелек у дорожки, вылезший на волю по зову весны...

А вот Поварская сохранилась – с потерями, конечно, с нежелательными приобретениями – и пока не дает забыть о своем дворянском происхождении. Здесь прогуливались когда-то и Александр Сергеевич, и Михаил Юрьевич, и Николай Васильевич... Лев Николаевич сюда наезжал к баронам Боде – на балы и в приемные дни – в их старинную усадь-

бу, некогда принадлежавшую князьям Долгоруким. Ее ценность, историческая и культурная, растет с годами: она же из допожарной (!) Москвы. В 1812 году тут квартировали французы, и это уберегло от огня дивный дом с мезонином, портиками, примыкающими полукружьями дворовых служб – все по канонам русского классицизма. В центре круглого двора – памятник Толстому. Его волей дом попал в пространство «Войны и мира» и обрел известность как Дом Ростовых.

Долгие годы в нем размещалось правление Союза писателей СССР, призванное руководить литературой, и вполне символично, что напротив, через улицу, появился памятник Михалкову, одному из писательских «генералов», поэту, драматургу.

Памятник поставили рядом с угловым добротным домом, «сталинским», где Сергей Владимирович прожил большую часть своей долгой – век без малого – жизни.

Бронзовый, он удобно расположился на скамейке, в одной руке очки, в другой – трость. В нескольких метрах, на зеленом газоне – бронзовая девочка с букетиком бронзовых цветочков, подношением любимому поэту.

«В доме восемь дробь один...» «Мы едем, едем, едем в далекие края...» Не найти человека, который не продолжил бы эти строки. Великана дядю Степу, как и задорную песенку про счастье дружбы и радость дороги, любили дети тридцатых годов, шестидесятых, восьмидесятых... И сегодня любят

и поют.

Памятник торжественно открыли к столетию Михалкова. Президент России держал речь. Говорил, что автор двух гимнов страны (разве не трех?) был преданным патриотом нашей великой родины. Его общественная деятельность и уникальное творчество – часть нашей истории и культуры. Он неизменно был на острие эпохи...

Хвалили и скульптора Александра Рукавишникова: человек на скамейке – значительный, и в то же время «такой простой, доступный, что хочется присесть рядом, будто и не он создал гимны». И вся композиция – поэт и девочка – «хорошо вписалась» в тенистый скверик между домом, где жил Михалков, и театром киноактера, хорошо организовала пространство.

Пространство – вещь... Нет, не так. Вспоминаю... Вот:

Время больше пространства.

Пространство – вещь.

Время же, в сущности, мысль о вещи.

Жизнь – форма времени...

Не случайно приходят строки из «Колыбельной Трескового мыса». Их автор рядом. Надо сделать всего несколько шагов под деревьями, пересечь «уголок», чтобы оказаться на Новинском бульваре, у памятника Иосифу Бродскому, свободному, вольному, вызывающе вольному человеку – такой он тут. Стоит, засунув руки в карманы, запрокинув голо-

ву. Смотрит... В небо? В даль? («На Американское посольство», – всласть поупражнялись остряки: посольство почти напротив.) Поэт отрешен от дневной суеты. Но люди, несущиеся мимо в автомобилях, не могут его не заметить, он задевает, как любой вызов: «Кто такой?» Бродский! Памятник созвучен его ироничной интонации.

«Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?» Кажется, «Письма Римскому другу (Из Марциала)» обращены к нам. «Как там в Ливии, мой Постум, – или где там? Неужели до сих пор еще воюем?»

Скульптура Георгия Франгуляна неожиданна. Мы видим человека в профиль и не видим в фас – это рельеф. А обратная, вогнутая сторона, слепок с рельефной, – как зеркальное отражение портрета. Но непривычность, неожиданность у меня не вызвали недоумения или протеста, попросту не задумываешься о поисках художника – настолько выразителен образ поэта.

За главной фигурой, на большой, чуть возвышающейся над землей площадке из гранитных плит – две группы фигур-теней, совершенно плоских, без лиц. Мы все, как тени, пролетаем по жизни, кому-то удастся выделиться «пропечататься», остаться, – так, насколько помнится (читала), определил сам скульптор замысел композиции. Когда смотришь на памятник с разных точек зрения, кажется, что фигуры перемещаются, общаются друг с другом. Можно встать на площадку рядом с ними. Уже не кажется, что толпа безлика.

В ней видишь тех молодых людей конца пятидесятих-шестидесятых годов, которые бегали на выступления Бродского, тех, что толпились в народном суде Дзержинского района Ленинграда в марте 1964 года, в его коридорах, на лестнице, под дверями зала заседаний.

« – Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу! – удивилась вышедшая из дверей судья Савельева.

– Не каждый день судят поэта! – крикнули из толпы.

– А нам всё равно – поэт или не поэт! »

Судьба изгнанного из страны Иосифа Бродского, как и жизнь Сергея Михалкова, отмеченного высшими государственными наградами, тоже часть нашей истории, и его творчество – часть культуры, не только русской.

Но один поэт всегда соответствовал «форме времени»: «Нас вырастил Сталин на верность народу, / На труд и на подвиги нас вдохновил». Умел себя переписывать, когда менялись лозунги: «Партия Ленина, сила народная, / Нас к торжеству коммунизма ведет... В победе бессмертных идей коммунизма / Мы видим грядущее нашей страны...»

Другой не укладывался в предлагаемую форму, раздражая ее охранителей.

– Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! – это команды судьи Савельевой. – Чем вы занимаетесь?

– Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...»

*Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.*

– Лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?..

О Родине, так и не построившей коммунизм, через пять лет после изгнания:

*Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там воздъ бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.*

*Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запрет.*

Суд смог сослать «тунеядца» Бродского за то, что «систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей» и пишет стихи, которые «вредно влияют на молодежь», в «отдаленные местности для принудительного труда», но не в его силах было отменить поэта. Потому что сам гений не в силах себе изменить.

Рассказывая о суде Соломону Волкову, взявшему на се-

бя роль Гетевского Эккермана, издавшему «Диалоги с Иосифом Бродским», поэт отметил, что комедия была «куда занятней», чем в записях писательницы Фриды Вигдоровой, которые она отважно вела под окрики и угрозы судьи.

– Самое смешное, что у меня за спиной сидели два лейтенанта, которые с интервалом в минуту, если не чаще, говорили мне – то один, то другой: «Бродский, сидите прилично!», «Бродский, сидите нормально!», «Бродский, сидите как следует!»... Я очень хорошо помню: эта фамилия – «Бродский», после того, как я услышал ее бесчисленное количество раз – и от охраны, и от судьи, и от заседателя, и от адвоката, и от свидетелей – потеряла для меня всякое содержание. Это как в дзен-буддизме, знаете? Если ты повторяешь имя, оно исчезает.

...За памятником под деревьями – скамейки. Они не пустуют, особенно в вечерний час.

Много ли мест в мегаполисе, где можно полюбоваться закатом? А здесь провожаешь взглядом солнце почти до горизонта – так удачен строй домов на противоположной стороне бульвара: справа – «высотка» на Кудринской площади и глыба нового торгового центра, а как раз напротив памятника – одноэтажный старый домик, Дом-музей Шаляпина. За него и скатывается огненный шар. Перед его исчезновением успеваешь увидеть на фоне красного диска черный силуэт поэта – поразительная картина.

Когда-то – «Время больше пространства...» – в такой вечерний час здесь звучал благовест, созывающий прихожан на вечерню. Звук шел с колокольни храма Рождества Христова, что в Кудрине. Он был приписан к Новинскому бульвару, но на бульвар выходили только красные кирпичные ворота. Если бы они сохранились, площадка-подиум памятника примкнула бы к ним вплотную. От ворот вела дорога вглубь тенистого двора к изящной церковке, возведенной по канонам XVII века: пятиглавье – пять нарядных главок на тонких шейках, шатровая колокольня.

Больше двух веков храм вел своих прихожан по жизни – от купели к первой исповеди (какой ужас испытала девочка Надя, что вот сейчас, при кресте, надо признаться в грехе: тайно съела нянькину ватрушку и свалила все на домового, – как стыдно, как некрасиво!), к облегчающим душу слезам раскаяния; вел к таинству венчания, крещения своих детей...

Переживания, связанные с главными праздниками – Рождеством, Пасхой, – ожидание чуда поднимали человека над обыденностью, рождали много надежд...

«Какая тихая ночь!

Стою долго на палубе, вслушиваюсь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон... Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны.

– Да, благовест, – говорит кто-то рядом. – По воде хорошо

слышно.

– Да, – отвечает кто-то. – Сегодня ведь пасхальная ночь.

Пасхальная ночь!

Как мы все забыли время, не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве.

Пасхальная ночь!

Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом, в огнях и пении, там, на земле, славящем Воскресение.

Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые, милые дни детства...

Младшая моя сестра Лена... Она всегда была со мной рядом, мы вместе росли. Всегда у своего плеча видела я ее круглую розовую щеку и круглый серый глаз. <...>

...Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный.

Помню, в старом нашем доме, в полутемном зале, где хрустальные подвески люстр сами собой, тихо дрожа, звенели, стояли мы рядом, я и Лена, и смотрели в черное окно, слушали благовест. Нам немножко жутко оттого, что мы одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжественно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос».

Пасхальную ночь 1919 года Тэффи провела на корабле, битком набитом беженцами, – бежали от большевиков

из Одессы в Новороссийск, до этого – из Киева в Одессу... Свой бег она начала в Москве. Думала, уезжает ненадолго – вернется через месяц. Не может же долго продержаться весь этот большевистский ужас: «разъяренные хари с направленным прямо в лицо фонарем», тупая идиотская злоба, ночной стук в дверь и стук прикладов о паркет, крик, плач, выстрелы, исчезновение людей и холод, голод... Она писала обо всем этом – с болью, злостью и смехом.

В ту ночь на корабле «Шилка», еще не зная, что осенью сядет на другой корабль и простится с Родиной навсегда («... Веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля»), Надежда Александровна вспоминала родной дом на Новинском бульваре.

Я долго искала этот дом – дом Александра Владимировича Лохвицкого, действительного статского советника, известного юриста, петербургского профессора, принятого в присяжные поверенные в Москве. (Он быстро вошел в когорту знаменитых адвокатов, на чьи выступления в суде ходили, как в театр, и вся Москва повторяла его остроты.)

Сначала у Лохвицких были съемные квартиры, что можно проследить по адресной книге: дом Семичева на Пречистенке, дом Перевощикова на Никитском бульваре, и наконец куплен большой дом – для большой семьи: пять дочерей и сын, будущий георгиевский кавалер, прославленный генерал Николай Александрович Лохвицкий, командовавший в первую мировую войну Русским экспедиционным корпу-

сом во Франции. Появился новый адрес Лохвицкого: «Новинский б-р., с. д.», то есть собственный дом. Маловато для поиска. Но до нумерации домов Москва в ту пору еще не дошла. И все-таки по крепостным номерам домовладений, архивным документам, старым планам Арбатской части города удалось определить место дома. Он стоял (увы, время прошедшее) прямо около исчезнувших церковных ворот, не там где Бродский, а по другую их сторону. Последняя владелица У.М.Саруханова снесла его и построила в 1914 году трехэтажный доходный дом. Мы видим его сегодня: неоклассическая асимметричность, колонны, барельефы...

Значит, пасхальный гул, завораживающий маленьких девочек в темном зале со звенящими хрустальными подвесками люстр, это гул храма Рождества Христова, колокола которого навсегда замолкли в 1931 году – храм порушили. А на его месте по проекту братьев Весниных построили Дом каторги и ссылки, для Клуба и Музея Общества бывших политкаторжан. Надо заметить, хозяев конструктивистский вид дома, обращенного фасадом к Поварской, несколько обескуражил («Поди ж ты, строили дворец,/ А вышел колумбарий свайный», – откликнулась стенгазета «Три централа»). Но вскоре Общество ликвидировали, в «колумбарии», где сегодня дает спектакли Театр киноактера, разместили сначала кинотеатр, потом Дом кино...

В зале Дома кино на печально известном собрании исключали из Союза писателей Бориса Пастернака. Будто продол-

жали править бал уничтожившие храм силы.

...Маятник качнулся – Бог к нам вернулся. Действительно, вернулся?

Сергея Владимировича отпевали в Храме Христа Спасителя, тоже когда-то взорванном и заново отстроенном. Теперь здесь отпевают бывших главных атеистов – бывших партийных руководителей, государственных и общественных деятелей. Все же были коммунистами, обязанными исповедовать атеизм. Выходит, простили Бога, присвоив Его священное право прощать?

Уповаем на Бога в новом нашем гимне – гимне России. Авторы не меняем: музыка А. Александрова, слова С. Михалкова.

*От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!*

– Разве Бродский тут жил? – спрашивает сидящая на скамейке неподалеку от меня девушка у своего спутника. – Почему его здесь поставили?

Мне так и хочется ей сказать: «Он сам сюда пришел».

Конечно, конечно, – поклон «родителю» Георгию Франгулянцу, скульптору с мировой известностью. В Москве, на Арбате, стоит его Булат Окуджава, в Брюсовом переулке – Арам

Хачатурян, около Дома музыки – Дмитрий Шостакович... В Антверпене – памятник Петру I, в Брюсселе – Александру Сергеевичу Пушкину, в Иерусалиме – Альберту Эйнштейну... А в Венеции посреди залива – Ладыя Данте...

Памятник Бродскому – дар скульптора Москве. Все, включая установку, он сделал на свои деньги. Семь лет работы плюс еще два года, ушедших на «прописку» Бродского на облюбованном месте. Только благодаря невероятному упорству можно было пройти через бесконечные согласования и получить 36 необходимых печатей.

Но, уверена, художника поддерживало еще и само его детище, будто сам Бродский вел его сюда и только сюда.

Каждое место обладает особой энергетикой, которая влияет на происходящие здесь события, самочувствие и поведение людей. Многое можно измерить, но не все. Наверное, Франгулян не знал, что это место задолго до него отметил Пегас. Может, проносясь над домом Лохвицких, он ударил копытом по крыше. А может, дело вовсе не в мифическом крылатом коне, а в облаках, которые «кружились барашками» над Новинским бульваром и источали поэтическую энергию – поток ритмов, рифм. Пусть это заумь (а может, и не заумь?), но хочется так думать. Ведь все дети Лохвицких, которых, по словам Тэффи, «воспитывали по старинному – всех вместе и на один лад» и «ничего особенного» от них не ждали, писали стихи.

Марию – Мирру Лохвицкую на заре Серебряного века на-

зывали первой русской поэтессой, русской Сафо. Она дважды удостоена Пушкинской премии, самой престижной литературной награды России, и дважды удостоена Почетного отзыва Императорской Петербургской академии наук.

Считается, что именно Лохвицкая «научила женщин говорить», проложила путь в поэзию Ахматовой и Цветаевой.

Причастны к литературе и другие сестры.

Варвара – литературное имя Мюргит, Елена – псевдоним Элио.

И Надежда – Тэффи, чудесная, оригинальная, единственная, несравненная, совершенно необыкновенная, по оценкам братьев-писателей.

Первая ее книга «Семь огней» – стихи. Их хвалил Николай Гумилёв в изысканном, снобистском журнале «Аполлон», отмечал их «литературность в лучшем смысле». Но в том же 1910 году она сама затмила свои «Огни», выпустив сборник «Юмористические рассказы».

Тэффи знала и читала вся Россия еще до выхода ее первых книг – она печаталась во многих влиятельных, популярных газетах и журналах с большими тиражами – в «Биржевых ведомостях», «Русском слове», в литературном приложении к «Ниве», в «Сатириконе»... Сегодня вступительные статьи к ее сборникам не обходятся без перечисления поклонников, почитателей. Негоже бесконечно повторяться, но соблазна не избежать – ряд получается интересный. Ее чтили и любили Николай II, Ленин, Распутин... дальше –

весь русский мир, от действительных статских советников, генералов и генералыш до студентов, гимназистов, учеников аптекарей... Слава была оглушительная. И Тэффи старалась снизить ее пафос никогда не изменявшей ей самоиронией. Расторопные кондитеры выпустили конфеты «Тэффи», и она отшучивается: «Объелась своей славой». По поводу читательской любви острит: многие дают имя Тэффи своим фоксам и левреткам... Протестовала, когда ее называли писательницей-юмористкой. Многие ее рассказы лиричны, глубоко психологичны, драматичны, но все смешны.

Уникальный дар, глаз видеть во всем, даже страшном, трагичном – смешное, при этом без тени кощунства. Ее смех как самоспасение и спасение от пошлости, глупости, абсурда, боли.

Так что Иосиф Бродский обрел в Москве пространство, обжитое талантливыми литераторами, петербурженками к тому же. В его судьбе и судьбе Надежды Александровны немало общего. Оба – изгнанники. С той лишь разницей, что он выдворен предписанием властей, она без предписания бежала от ужаса революции и гражданской войны, но все одно: они выдавлены Родиной, не оставлявшей им возможности жить и дышать.

Все вышедшее, выходявшее из-под их пера оказалось под запретом в советской жизни.

*Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.*

Ни она, ни он не вернулись на Родину, даже когда, казалось бы, появилась возможность.

После войны, в 1946 году верховный совет СССР принял постановление о репатриации эмигрантов, и можно было сразу же, в посольстве, получить советский паспорт. Многие русские писатели в Париже на патриотической волне – война, переживания за свой народ, гордость за победу – поспешили это сделать. Другие размышляли – ехать не ехать... Перед Тэффи даже вопроса такого не возникло. Не только из-за почтенного возраста (ей шел восьмой десяток) – она была чрезвычайно умна, это отмечали многие современники, и ей никогда не изменяла интуиция. Она словно предчувствовала «историческое» постановление партии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», определявшее духовную жизнь всей страны. Его вызубривали перед экзаменами старшеклассники и студенты (не одно поколение!), повторяя непотребные слова в адрес Михаила Зощенко, «пошляка и подонка», и Анны Ахматовой, «блудницы и монахини», «взбесившейся барыньки». Ее без конца испытывали на излом, дважды отправляли сына в Гулаг. А теперь еще и гражданская казнь, в назидание другим.

«Вспоминается мне последнее время, проведенное в Рос-

сии, – рассказывала Надежда Александровна в интервью газете „Русская жизнь“, вышедшей в Сан-Франциско, в ноябре 1946 года, вскоре после этого позорного документа. – Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город и вижу через всю дорогу огромный плакат: „Добро пожаловать в первую советскую здравницу!“ Плакат держится на двух столбах, на которых качаются два повешенных. Вот теперь я и боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с надписью: „Добро пожаловать, товарищ Тэффи“, а на столбах, его поддерживающих, будут висеть Зощенко и Анна Ахматова».

В своей Нобелевской речи Бродский говорил, какую неловкость он испытывает, стоя на такой трибуне. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до него, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала.

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден – он назвал пятерых – тех, чье творчество и чьи судьбы ему дороги хотя бы потому, что, не будь их, он «как человек и как писатель стоил бы немного». «Быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были...»

Время измывается над нами. Или мы – над временем? Маятник вправо – казним самых умных и талантливых, влево –

милуем. Посмертно. А маятник снова идет вправо – изгоняем умных и талантливых, влево – возвращаем...

Книги Тэффи снова с нами. И те, которыми зачитывалась вся дореволюционная Россия, и те, что вышли в годы изгнания – в Париже, Стокгольме, Белграде, Берлине, Нью-Йорке...

Они стали появляться на Родине почти через сорок лет после ее смерти, в самом конце восьмидесятых – начале девяностых годов. В это же время – уже не тайно – мы читали стихи Иосифа Бродского, его потрясающие эссе, чаще всего переведенные с английского на русский. Слава Богу, это случилось еще при его жизни...

Он размышлял о подобном «прощении».

Прелестно (его слово), что разрешают Стравинского, и Шагал с Баланчиним уже хорошие люди. Значит, империя в состоянии позволить себе определенную гибкость. В каком-то смысле это не уступка, а признак самоуверенности, жизнеспособности империи. «И вместо того, чтобы радоваться по этому поводу, следовало бы, в общем, призадуматься...»

Любоваться бы закатом, млеть от красоты и ни о чем не думать, но почему-то...

Закат всегда печальный – считала Тэффи.

«Пышный бывает, роскошный <...> но всегда печальный, всегда торжественный. Смерть дня.

Всё, говорят, в природе мудро: и павлиний хвост работает на продолжение рода, и красота цветов прельщает пчел для опыления. На какую же мудрую пользу работает печальная красота заката? Зря природа потратилась».

Солнце уже спряталось за дом Шаляпина. Пора уходить. Мне надо на Поварскую. По дороге остановилась около бронзовой девочки с бронзовыми цветочками.

Мы едем, едем, едем...

Татьяна ПОЛИКАРПОВА

Когда бывает видно другое...

Две девчонки, лет девяти, Нюрка и Танюрка, играли за околицей: ныряли в сугробы.

Высокие надувы за длинными совхозными амбарами обрывались отвесными стенками с гребнями, закрученными не хуже, чем у морской прибрежной волны. А меж стеной амбара и снежным обрывом – узкая пустота, затишок. Будто метели и ветры, разогнавшись в чистом поле от самого леса, все ж боялись разбить лоб о бревенчатую плотную кладку старинного амбара, тормозили, а снег, что волокли с собой, тут и бросали. Так рос и плотно слёживался зимний откос, чтобы можно было в нем рыть длинные пещёры, а потом, зайдя со стороны поля, идти наугад, да ещё и задом наперёд, к амбарам. И вдруг ка-ак провалишься! Вот ужас-то! Вот счастье! Снег, рассыпчатый внизу, сухой: зима крепко настояна на морозе.

Девчонки прыгали и визжали так, что в ушах звенело. Они уже походили на снеговиков со своими круглыми белыми головами. Пуховые платки на них забиты, затёрты снегом: и не узнать, какого они цвета. Да и пальтишки, чулки, валенки, варежки тоже будто заштукатурены, снежной корой по-

крылись. У девчат одни лица алеют да блестят глаза...

Уж и стемнело давно, хоть было еще не поздно, а девчонкам нипочем. Каникулы начались! Послезавтра Новый год. Танюркина мама говорит – особенный. Он новое десятилетие начинает, пятый десяток разменивает: начнётся 1941.

Ну вот, разбили они все пещёры свои, и Танюрка новое придумала:

– Нюрк! Давай теперь снизу головой пробиваться, из пещёры наверх!

– Давай! Только вот новые же надо рыть...

Но Нюрка была человек практичный, смекалистый, тут же догадалась, как быстрее:

– Давай не строить, а прямо так, как червяки?

– Урра! Давай, кто вперед вылезет!

И девчонки ринулись на снежную стену, ближе подступив к тому углу амбара, мимо которого шла дорога в совхоз от поля и леса. Как два крота, они гребли руками, отгаликивались ногами. Захлебываясь чистойшей, пресной на вкус снежной пылью, таранили, темячком вперед, будто рождались заново.

Запыхавшиеся, они вынырнули одновременно и хохотали, глядя друг на друга, ещё по пояс утопая в синеватых сумеречных снегах. И вдруг разом замолкли: перед ними возник человек. Они увидели его, когда он уже был рядом. Вплотную. Над ними...

Это был чужой человек: своих они всех знали. Да если б

кого и не знали: здесь так не *ходят*. Человек был во всем белом, ну, может, светлом. Полушубок нагольный некрашенный, – это еще бы и ладно, бывает. Но белые штаны! Холщевые, что ли? Или просто кальсоны? И онучи, и лапти залеплены снегом не хуже, чем сами девчонки: видно, шёл издалека. А на голове, на черных кудрях, над черной, заиндевелой бородой, притеняя блеск необычайных ярких глаз – шляпа! Такая белая, грубого войлока, шляпа конусом, какие носят здесь разве что старые татарские бабаи.

Они оторопело смотрели друг на друга: девчонки – снизу вверх, и от этого чужак казался им огромным плечистым великаном; а он – сверху вниз на маленьких угрызших в снегу круглоголовых. Он первый понял. Покачал головой, усмехнулся:

– Ай да девчонки... Не признал сначала... Думаю, что за куропатки... Вроде крупноваты... Эк вывалялись... Вот вам мамка-то задаст...

И вдруг весело приказал:

– А ну-ка... Сбегайте домой, принесите мне чего поесть. Да живо! Мне ждать недосуг...

Девчатам не надо было повторять. Рывком выскочили из снежных нор, что есть духу понеслись к дому... Еще бы! Только он заговорил, только зарокотал его густой голос, они поняли, КТО перед ними: Степан Разин!

Осенью привозили в совхоз это кино, про Стеньку. Танюшка потом замучила Нюрку, вызывая ее на бой: сражались

на «саблях» – палками фехтовали, как в том кино.

Танюрка тогда и мать свою замучила: почему она ее девочкой родила. И требовала себе за то хоть брюки.

«Хорошо, – говорила мать, – что твои братья маленькие, а то б раздела».

А отцовы были ей слишком уж велики.

Как же хотелось Танюрке быть Степаном Разиным! Или хоть его товарищем... Она долго играла в Стеньку. Больше одна, чем с Нюркой. Та соглашалась лишь сражаться. Даже персидской княжной не хотела побыть. Так что вместо персиянки Танюрка бросала в воду простую корягу...

Или садилась она на пригорке, откуда хорошо-далеко видно совхоз со всеми его полями и лесами. Подбоченившись левой рукой, ставила правый локоть на поднятое правое колено, подпирала ладонью подбородок: Стенька думает о народе...

И вот он возник наяву... Он самый! Это и Нюрка признала, сама Нюрка, которая мало верит в волшебства.

Девчонки мчались к дому, еле дыша, молча...

«Надо быстрее, быстрее», – думала Танюрка, от какой-то непонятной дрожи внутри себя не видя, как следует, что где лежит на кухне... «Ой, вдруг он уйдет...»

На сковороде под тарелкой она нашла четыре блина, выковыряла остатки масла из банки, высыпала из сахарницы наколотые мелко кусочки сахара... Схватила краюху – все, что было – хлеба...

Нюрка ждала ее у ворот с полбуханкой хлеба, подскакивала на месте от нетерпения...

Но Стенька ждал их. Сидел на корточках, привалившись спиной к амбару, скрытый снежным надувом от дороги и домов поселка.

Он от них угощение принял, усмехаясь в бороду. Завернул масло в блины, а блины в тряпицу – и в карман, сахар – в другой, хлеб – за пазуху.

– Ну, вот, пожую дорогой, вас помяну...

И все-то усмехается, поглядывая на девчонок разинским горячим оком... Понял, наверное, что его признали, и оттого обомлели...

– Вот и Рождество уведу от вас, девчонки, а?!

И зашагал, кивнув им слегка, свысока...

Они не посмели даже побежать за ним, проводить... Только смотрели вслед, пока его светлую фигуру не растворила в себе тьма...

Нюрка и Танюрка повернулись друг к другу:

– Это что – правда? – шепотом спросила Танюрка будто смерзшимися губами. – Так может быть?

– Рождество идет, – тоже еле слышно ответила Нюрка. – В рождество всё может быть... Бабушка так говорит: «Время ломается...» Через это видать бывает *другое*.

– А-а... – выдохнула Танюрка, во все глаза глядя на невольшебную Нюрку, понимая, что сейчас Нюрка выговорила волшебное – тайну...

...И вокруг было волшебно: лиловели снега... Глубокие, они прятали, укрывали низенькие избы, а кроткий красноватый свет из окон, словно в благодарность снегу, розоватил ближние к избам сугробы. Небо же было высоким... Бескрайним.

Звезды, которые знают всё, смотрели с той высоты будто и не на землю, а куда-то вверх, выше своей высоты, потому и казались такими маленькими и туманными. Им не хотелось глядеть вниз: они-то знали, что принесёт тихой этой земле наступающий год. Теперь-то и мы знаем...

...Тот далёкий вечер и встреча Нюрки и Танюрки со Стенькой, унесшим всё, что было в их домах съестного, вспомнились им нынче, потому что пора: как раз полстолетия минет с уходящим теперь тысяча девятьсот девяносто первым годом. Должно время переломиться. Пора...

1991.

Сон о «девятом дне»

Фрагмент из неопубликованной повести «Сны о жизни»

Самый тяжкий сон об одиночестве, без всяких примесей иных смыслов, его можно назвать притчей об одиночестве, – случился в городе Москве, в первые месяцы моей там жизни. 1969 год – это и год распада моей семьи, и первый год службы в журнале «Работница».

Видимо, так отлились первые впечатления от большого города: его бетонного жёсткого тела, его бесконечных асфальтовых перспектив, его ошеломляющего многолюдия...

Всё это я наблюдала из окна двенадцатиэтажного дома издательства «Правда», населенного многочисленными редакциями журналов и газет, «Работница» – на десятом.

Дом своим фасадом смотрит на площадь Савёловского вокзала и на могучую плавную арку гигантской эстакады, соединяющей Бутырскую улицу с Новослободской. Она пронесит по своей серой бетонной спине тысячи больших и малых безостановочных машин. Вечное движение – вот оно перед твоими глазами день за днём, час за часом. Где тут быть человеку... Вид за окном, у которого стоял мой рабочий стол, и стал местом действия в том сновидении.

Я всё ещё сижу на работе, хотя уже давно ночь. Ночь перед утром: светает, сереет наше огромное панорамное окно.

Чего я так задержалась здесь, не знаю. Чего-то дописывала, что ли. Теперь, думаю, мне придётся брать такси: общественный транспорт двинется не раньше, чем через три часа.

Вышла и – замерла: стояла такая тишина, какой просто не может быть в большом городе. Тишина и пустота. И всё вокруг монотонно серое: небо, асфальт, дома... Страна без цвета и теней.

Медленно двинулась я к эстакаде, но почему-то не свернула под неё, чтобы идти к вокзальной площади, где обычно можно взять такси, а пошла к лестнице, ведущей на эстакаду. А там побрела вверх, в сторону Новослободской улицы, но не по пешеходной полоске, а по самой середине бетонной громады. Здесь не ступала нога дневного человека: это дорога для железных машин. А я вот иду тут, как хочу. А куда хочу – не знаю и не ведаю. Иду себе.

Передо мной широченная полоса бетона вздымается к небу, гораздо круче, кажется мне, чем это видишь из окна десятого этажа. Сейчас я вижу только этот взлёт, упирающийся в небо. За чертой, где смыкались серая земная полоса и серое небо, казалось, уже ничего нет. Запределье...

Медленно продолжала я идти вверх, размышляя, что же я сейчас увижу там, за горизонтом, за его совсем близкой чертой. Как вдруг оттуда обрушился на меня нарастающий

звук стремительно мчащейся машины и тут же визг тормозов и мучительный предсмертный собачий вопль. «Сби-ли...» болезненно сжалось сердце. И я бегом, забыв о за-пре-делье, об ином мире, помчалась туда: может, ещё можно помочь собачке.

Выскочив на верхнюю точку склона, увидела, что опозда-ла: высокий старый человек, как и всё вокруг, серый: одежда, длинная борода, шляпа, уже склонился к сбитой собаке. Ни-какой машины не было рядом. Куда она делась?!... Старик с трудом поднимал большую светло-серую овчарку, приго-варивая негромко: «Милая ты моя... Бедная моя... Как же это ты...»

Вот он поднял её: голова и передние лапы свесились с пле-ча на его спину, кончик хвоста виднелся где-то ниже его ко-лен, и понёс. Видно было, что собака неживая.

Я уже хотела повернуть назад, но старик снова загово-рил. Отчётливо слышу: «Ну, ничего, ничего, пёсик. Будем те-перь с тобой. Вместе будем... Плохо одному-то... Сегодня девятый день, как помер, а ведь никто не заглянул...»

Похолодела, услышав это. Запнулась, было. В недвижной тишине утра я отчётливо слышала каждое слово. Ошибки быть не могло: он так сказал.

И я пошла за ними. Мне стало совершенно необходимо увидеть, куда они пойдут, где живёт (живёт?!) этот умер-ший старик. Вдруг я узнаю, может ли быть жизнь после смерти...

Я не задумывалась, что, возможно, мне придётся идти за ними на край света...

Оказалось, нет, не на край. Мы пересекли улицу Новослободскую и, немного не дойдя до Вадковского переулка, вошли под проездную арку двора. Справа в стене под аркой оказалась дверь. Старик толкнул её ногой: отворилась. Вошёл. Я, чуть переждав, за ним. Сердце колотилось так, что можно было со стороны услышать.

Тёмный и длинный коридор. Ага... Идём по нему дальше. Ещё дверь. И ещё один пинок. Осветился вход в помещение. Вот удача: старик не прикрыл за собой дверь.

Я, прижавшись к стене, смотрю туда. Вижу комнату: длинная и узкая, как часть коридора. У дальней стены то ли кровать, то ли просто лежанка. На ней кучей тряпьё. И не понять, лежит ли кто или что под тряпьём.

Может, даже там лежало тело того, за кем я сейчас пришла сюда... Тогда, значит, старик просто душа? А если на ложе пусто, тогда – что это? Да: я ведь слышу его слова. Он размышляет. Он чувствует, и даже острее, чем живой! И потом, он с трудом поднимал собаку себе на плечо! Значит, не дух?... Вряд ли духи чувствуют земную тяжесть...

А старик, уже склонившись над лежанкой, придерживая собаку обеими руками, медленно осторожно опускал её на постель, приговаривая ласково: «Ну, и вот... Ну, и вот... Никогда не было у меня собачки. Теперь есть. Теперь мы с тобой не одни на свете. Ты у меня, я у тебя... Вот сейчас

дверь заперём...» Он с трудом разогнул спину, переступил ногами, собираясь развернуться, чтоб идти к двери...

Я не стала дожидаться, когда он завершит свой манёвр, опрометью кинулась по коридору к выходной двери и вон изпод арки...

Ужас меня пронзил от мысли, что вот сейчас я увижу его лицо... Казалось, это было бы непереносимо.

И проснулась. Дома на своём диване. Сердце колотилось. И было стыдно: убежала!

Постепенно очнувшись, поняла, что нет у человека возможности узнать так просто главную тайну жизни – есть ли она после смерти.

Оставалось осознать другое: мне показали, что это такое полное абсолютное одиночество человека среди живых людей. Выходило по моему сну: он и мёртвый рад другу, пусть и мёртвому.

Это меня ждёт?

Как кричат птицы в начале мая

В подмосковном местечке Малеевка, где когда-то располагался Дом творчества Союза писателей, оказалась я в самом конце апреля 1981 года.

Было ещё сыро, прохладно, почки на деревьях только-только проклёвывались, у кого раньше, у кого позже, но птицы уже заливались на все голоса. Нигде никогда не слышала я таких хоров, таких солистов, дуэтов и трио, и я не знаю, каких ещё ансамблей поющих, свистящих, кричащих на все голоса.

Наверное, потому, что домов на территории «писательского творчества» было немного, стояли они не кучно, все в деревьях, птиц некому было тревожить.

Как же им было свободно и хорошо!

Окрестности здесь – замечательные: леса лиственные, светлые. И особо светлые в эту пору потому, что листья, как им следует, пока не развернулись. Зато земля под пологом ещё прозрачных крон уже вся зазеленела и даже зацвела.

И тут я впервые после детства попала в мир тех вёсен, когда мне шёл восьмой год... девятый... и так далее – до 14 лет, пока я жила с родителями в деревне и ещё не отправилась учиться в большой город. С тех пор апрельских и майских вёсен я уже в лесах не заставала. И не могла любоваться нежнейшими полями первоцветов, этих редких подснежников

с их белоснежными пятилепестковыми венчиками, с желтыми гнёздами тычинок посередине, с резными зелёными листьями на высоких округлых стеблях. И тут, в Малеевке, увидела их впервые после детства...

Подснежники незаметно отцветали, гаснул белый цвет под кронами, уже развернувшими свою листву, и в лесу темнело.

Низенькие «медуницы» и лиловатые на высоких гранёных ножках «петушки» – так по местному названию – зацвели позднее, уже плотнее покрывая лесную почву.

Малеевские леса вернули моей памяти светлую от белых цветов весну. А позднее я встретила здесь и других старых знакомых из тех же сказочных детских времён...

Сначала я почувствовала запах и даже не поверила себе, что это тот самый, и что я его не забыла... Пошла на запах, и на краю пологого и длинного оврага увидела этот низкий кустик. Его упругие, покрытые коричневой блестящей корой ветки не сплошь, а там и сям украшали ярко-малиновые, будто эмалевые, звёздочки цветков. Они-то и издавали сильный, издали чудесный, яркий и своеобразный, словно дорогой парфюм, аромат. А если приблизишь цветущую ветку к лицу, почувствуешь, как сквозь дивный аромат проступает явственный запах гниения. словно некая угроза. Это растение называется «волчье лыко». И недаром: просто рукой ветку с этого кустика не оторвать, хоть и кажется она хрупкой, на вид даже суховатой. Так и аромат его красивых цве-

тов несёт и обольщение, и угрозу.

Ещё позднее встретила – и в изобилии – цветущие кусты бересклета. Его странные висячие цветки похожи на изящные серьги. Главная драгоценность – фантастический «глазок»: такой белый – да, белый, будто глазной белок, – с лиловым «зрачком», прикрытый мясистым малиновым «веком», а сверху этот глазок прикрывают, не прикасаясь к нему, две ярко-оранжевых ладошки-чешуйки. Вся конструкция из двух-трёх «глазков» подвешена на длинных нитях, идущих из одной почки на ветке.

Встретить все эти создания, знакомые только по детству, в пору, когда у меня самой уже внуки, было чудом и счастьем...

А вот птиц, поющих и свиристящих, звенящих и тренькающих, как колокольчики, я по своим детским лесам не помнила. Наверное потому, что по утрам крепко спала... И потому, наверное, что наш дом стоял в посёлке, а лес был достаточно далеко, не ближе полутора километров. А тут, в Малеевке, с берёзы прямо над моим балконом с самым первым светом раздавалось настойчиво: *«Чьё-чьё-чьё? Да вы чьё-о-о?!»* – по-вятски, с повышением тона к концу фразы. И с вариантами: *«Чо-чо-чо? Да вы чо-о-о?!»*

А то ещё: *«Чьи-чьи-чьи? Да вы чьи-и-и-и?!»* И всё с таким несказанным возмущением...

Иной же раз у этой вопрошающей птицы получалось просто *«чи-чи-чи...»*, а между этим чиканьем она и трель мог-

ла запустить, и уж эту колоратуру никакими нашими буквами-звуками не передашь даже приблизительно.

Но вторую постоянную певицу – она обитала на большой ели над аллеей, ведущей к столовой, мне удалось расшифровать. Казалось, я отчётливо слышу, как быстро она выговаривает: «*Чёртпобери! Чёртпобери! Чёртпобери!*» Очень быстро, с ударением на последний слог, но мирно, не бранясь, а просто приговаривая.

Какая-то птаха за моим окном могла вдруг лихо засвистать по-разбойничьи: «*Фьюу-вить!*» А до того выпевала какую-то нежную трель: «*Тюрлю-лю-лю-лю-лю! Пиу! Пиу! Пиу!*» И вдруг это: «*Фьюу! Вить!*» – да резко так!

А на лесистом склоне горы над озером всё кто-то выпевал нежным голосом, обиженно вопрошая: «*Выйдешь? Выйдеш-е-ешь?*» и тоже так долго тянет последний слог-вопрос...

А голоса у всех нежные, чистого такого звука, как бы серебром о хрусталь. Или будто на тонкой упругой водяной струйке бьётся горошиной хрустальный шарик, и тонкий звон от этого....

У иных птиц, слышишь, – не в горлышке, а в клювике свист получается: видно, воздух свистит, проходя сквозь малую щелку клюва...

Птицы гоняются друг за дружкой. Летают, суматошатся. Дрозды ворон пугают. Три маленьких дрозда, видишь порой, гонят большую ворону. Куда там! Большая, а удирает во все лопатки. А они над ней своими трещотками тархтят! Оглу-

ШАТ С КОНЦОМ...

Наталия ЯСНИЦКАЯ

Стихи

Танец

Моим учителям

И... раз,

и... два,

и... три,

и... раз...

Всю жизнь учусь держать баланс,
Не опираясь о партнёра, —
Постигну тайну эту скоро
И получу последний шанс
С молитвою пройти по бритве,
Дышать на «И», не сбившись с ритма,
И ускоряться не спеша,
Живя не суетно, и слитно.
Беру себе в учителя
Деревья, реки и пустыни, —
Ведь жить я буду и тогда,
Когда земля совсем остынет.
Когда дорога станет уже,
Партнёр уже не будет нужен.

Баланс... Всегда держать баланс!
Душа бессмертна – это шанс...
Но как сейчас не сбиться с ритма
Дыхания лесов, морей?
Ключом какого алгоритма
Учиться языку зверей,
Полётам птиц с размахом крыльев,
Подобным ангельским в раю?
На веерах поднятой пыли
Танцорами в моем краю
В воронках солнечного света
Я отрываюсь от земли,
Как в книгах Древнего Завета
Тех предков, что летать могли...
Магический орнамент танца
В геноме человеческих рас,
Пока земное бьется сердце:
И... раз,
 и... два,
 и... три,
 и... раз...

Ночное шоу

Коченея на корточках, мгла
Тёмный угол в саду родила.
Он мякнул кошачьим ртом,
Хрустнул веткою, и потом
Стал расти, – посекундно смелея,

Дотянулся до ближней аллеи.
Поднимаясь всё выше и выше,
Тьма накрыла деревья и крыши
И раскинула звёздный шатёр.
Вышел месяц паяц-визитёр,
Сочиня дрожащие тени
Под стеблями неспящих растений.
Сотни глаз, ушей и хвостов,
Хохот сов, чей-то страх из кустов,
В фиолетовом поле пророчеств
Распустились цветы одиночеств...
Чехарда вещих снов до рассвета, —
Тридцать шесть комбинаций в сюжетах¹
Создаётся ночным Демиургом
Под шедевры земным драматургам.
У цикад неизменная роль
До утра «соль-диез» – «ля-бемоль»
На три четверти звонко тянуть,
Не давая актёрам уснуть.
В этом шоу из Света и Тьмы
Персонажи и зрители – мы.

Магистерииум²

¹ Аристотель, Виктор Гюго, Иоганн Вольфганг Гёте, Карло Гоцци и Жорж Польти считали, что вся драматургия и мировая литература держится на 36 сюжетах и их комбинациях. Многочисленные попытки дополнить этот список только подтвердили верность исходной классификации основных (или бродячих) сюжетов.

² Магистерий (магистерииум) – философский камень (лат. lapis philosophorum),

Я обхожусь без василисков и рептилий,
И без яиц, снесённых старым петухом, —
Обряды с жабами давно уж запретили.
Наш философский камень называется Стихом,
В котором есть свобода, и бессмертье,
И даже то, чего мой разум не просил.
Всё превращает в золото, поверьте,
Поэзии волшебный эликсир!

Альфред Хаусман

Стихотворение №32

From far, from eve and morning
From yon twelve-winded sky,
The stuff of life to knit me
Blew hither; here am I.

Now – for a breath I tarry
Nor yet disperse apart —
Take my hand quick and tell me,
What have you in your heart.

Speak now, and I will answer;
How shall I help you, say;
Ere to the wind's twelve quarters

он же ребис эликсир философов, жизненный эликсир, красная тинктура, великий эликсир, «пятый элемент».

I take my endless way.

* * *

Из утреннего света —
Закатного огня
Двенадцать ветров неба
Вдохнули жизнь в меня.

Пока я не распался
На пыль к исходу дня,
Дай руку и скажи мне,
Что в сердце у тебя?

Помочь тебе успею,
А дальше как-нибудь
С двенадцатью ветрами
Продолжу вечный путь.

(перевод с английского)

В небе росчерк тёмных молний

В небе росчерк тёмных молний
Запоздалых вольных птиц,
Вечер с рощею помолвлен —
Кружева сползли со спиц...

Лицевою и изнанкой
Стелет свой узор листва

Древних замыслов и знаков
В ритуалах волхования.

Это летопись желаний, —
Сок томится в деревьях,
Как предвестник тайных знаний,
Что не выразить в словах.

Каждый год под птичье пенье
С обновлением колец
В сине-звонкий день весенний
Роща ходит под венец,

Чтобы в почву семенами
Завершить священный круг.
Роща в небо окунает
Руки-ветви... ветви рук.³

Чердак

Из полутёмной подворотни
Гулякам поздним для потех
Дом раскрывает отвороты
Промокших стен – Ночной Ковчег,
Где каждой твари есть по паре,
И одряхлевший пуховик,
А у подъезда на бульваре

³ Отмечено в номинации Лонг-лист Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» – 2014.

Сидит, как памятник, старик.
Я, замедляясь как слова,
Чтоб не кружилась голова,
От запятой до запятой
Иду по лестнице крутой.
На чердаке художник жил, —
Он над холстами ворожил,
И запах красок сохранил
Картон с остатками белил.
...Палитра, глиняный сосуд...
Как жаль, что старый дом снесут!
Последний луч в закате дня
На стенах отразил меня,
Но запылённое окно
Так одиноко и темно
Фрамугой машет на ветру,
И... разбивается к утру.

Я на чердак, как в прошлое, вхожу
Во снах, затерянных на краешках карнизов,
Как перья голубей среди эскизов,
И в зеркало поблёкшее гляжу,
Где амальгама дорисовывает мудро
Сюжеты недописанных страниц —
Там до сих пор июнь, и наше утро,
И крылья белоснежных птиц...

Снегурочки России

Тепло у старого камина...
На улице опять зима.
А я предчувствием томима, —
К весне растаю и сама!

Ведь пролески на перелесках,
Как отражение небес
Через хрустальные подвески,
В которые наряжен лес,

До слёз и обмороков сини!
И песни Леля сердце жгут,
Когда любви, как Чуда, ждут
Снегурочки в моей России...

Стужа

У меня замёрзший нос,
От мороза стынут пальцы.
С неба хрусткие хрустальцы
Ветер вечером принёс.
...Добежать домой скорее,
Где меня уже встречает
Кошка, спрыгнув с батареи.
Отогревшись крепким чаем,
Я забьюсь под одеяло, —
Там тепло и безопасно.
Только этого мне мало,
Я домой спешу напрасно,

Потому что в звонкой стуже
Непослушным и простуженным
Ртом молю январь о том,
Чтоб весна пришла потом...
Натянув Луну на пяльцы,
Серебристыми стежками
Под негнущимися пальцами
Разошью её стихами,
Чтоб придать им скорость света.
Пусть летят к другим Вселенным!
И не жду на них ответа
От существ таких же тленных.
Так напугана зимою,
Что хочу отправить в вечность
Быстротечное, земное,
Неизбежную конечность
Человеческих событий
С безграничностью открытий.
Ведь когда настанет лето,
Я забуду стужу эту —
В суете и круговерти
Людам дела нет до смерти...

По балкону дождь стучит...

По балкону дождь стучит...
Он, как музыка звучит,
Повторяясь многократно
Многокапельным стаккато

Отмывает

города, —

Посох Божий не мельчит!
По страницам дождь стучит...

Осенний букет

Когда я осенний букет собираю,
Мне все говорят, что осыплются листья.
Они не осыплются. Я это знаю.
Во время ненастья дождливо и мгليсто
Осыпаться могут лишь чёрные дни...

Точка бифуркации

Придёт весна, и Город вновь
Под ярким Солнцем станет Белым,
И люди в этом Городе прозреют,
И птицы принесут Благие вести,
И рыбы серебром наполнят реки,
И золото с небес сойдёт лучами,
И розовый закат своей любовью
Обнимет землю и избавит нас
От зла и заблуждений. Весна придёт.

Алла ЗУБОВА

Девочка среди войны

1941 год. Мне десять лет. 22 июня. Воскресенье. Утро солнечное, тихое. Я прыгаю по классикам, передвигая через чёрточки квадратов плоский камушек. Сейчас выйдет мама и мы пойдем в кондитерскую палатку покупать гостинцы для моих деревенских друзей. Родителям отпуск ещё не положен, и они решили не томить хилого ребёнка в пыльной Москве, а отправить в деревню на Тамбовщину к бабушке вместе с её знакомым односельчанином.

Вышла мама в нарядном маркизетовом платье с плетёной сумкой, и мы направились в магазин. Меня переполняло счастье. Папа и мама весь день будут со мной, а вечером мы пойдём на вокзал, загудит паровоз, стукнут колёса и побегут за окном телеграфные столбы, а я буду смотреть на убегающие дома, деревья, леса и поля...

Улица Домниковская – узкая, длинная – соединяет Садовое кольцо и Комсомольскую площадь, площадь трёх вокзалов. Обычно возле палаток и в магазинах толпятся шумные мешочники, сейчас везде малоллюдно. Мы покупаем большие пакеты печений – прямоугольных, с рубчиками, которые называются «Комбайн», сливочные тянучки и кисленькие ка-

рамельки «лимончики».

Вдруг показывается колонна машин. На открытых грузовиках сидят солдаты с ружьями, со скатками через плечо. Лица строгие. Доехав до Садового кольца, часть машин поворачивает налево – к Курскому вокзалу, другие направо – к Белорусскому. Стоящие в очереди переговариваются: «Едут на учения».

Дома – сборы в дорогу, наказания, наставления. И вдруг по радио: «В 12 часов будет передано важное сообщение».

Пошли последние минуты моего счастливого детства. И грянуло: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра...» Война!

Папа, собрав какие-то документы, не надев пиджака, в белой шелковой рубашке идет в военкомат. Мама, военнообязанная медсестра, понимая, что мы расстаемся надолго, начала быстро перекладывать мой чемодан, стараясь уложить в него теплые вещи: фуфайки, шапки, рейтузы.

Как это ни странно, на вокзале не было никакой суеты. Мой попутчик занёс вещи в вагон, остался при них, а мы с мамой ждали папу. Осталось минут пять до отправления. И вот я вижу: по перрону бежит мой папка – высокий, красивый, рукава шелковой рубашки трепещут на ветру и он похож на большую белую птицу. Схватив меня, крепко обнял, поцеловал. «Дочка, я ухожу на фронт. Запомни хорошо мой приказ. Ты уже взрослая. Ты тоже на войне. Учись хорошо. Помогай бабуле. Пиши мне чаще письма и жди меня».

Паровоз засвистел. Все трое крепко прижались друг к другу. Стукнули колеса. Папа поставил меня на подножку вагона, обнял маму, и они долго махали руками вслед своему единственному дорогому дитятке, которого отнимала у них война.

* * *

Моего двоюродного брата Лёньку Хорошева любила не только вся наша большая родня, но и деревня, в которой он жил, и вся округа. Был он веселой души человек, знал все песни и пел их высоким чистым голосом, неутомимый танцор и плясун, играл на всякой музыке – от гармонии до деревянного гребня. У кого какой праздник – он там самый желанный гость. Однажды увидел он в кино, как артист играет на губной гармошке и очень она ему понравилась. Только где ж в глухой деревне её раздобыть?

Сговорились московские дядья и тетушки сделать Лёньке к 20-летию подарок. Собрали деньги. Папа мой съездил в музыкальный магазин и купил губную гармонику, которая лежала в бархатной коробочке на белой атласной подушечке. И этот подарок я везла Лёньке.

Немногим более суток прошло с объявления войны, а как всё изменилось! Всегда тихая, малолюдная станция Инжавино кишела народом. Мы стояли возле вещей, оглядываясь по сторонам, но никого ни встречающих, ни просто знакомых не видим. Вдруг слышу звонкий голос брата: «Алька»!

Он проталкивается сквозь толпу, грабастает меня в охапку. Я вырываюсь, бросаюсь к чемодану, достаю бархатную коробочку и протягиваю Лёньке: «Вот! От всей родни!» Он осторожно приподнимает крышку и ахает, бережно берёт гармонику, подносит к губам. Слышится нежный, серебряный звук, сливаясь в мелодию руслановской песни «Ах, Самара-городок».

Лёньку громко позвали: «Хорошев! В строй! На посадку!» Брат, смеясь, махнул мне рукой: «До скорого! Все ребята говорят, с немчурой быстро управимся. К уборочной вернёмся!»

Нет, не довелось ни Лёньке, ни его товарищам убирать хлеб с полей 41-го года. Все погибли, не доехав до передовой. Их состав попал под обстрел вражеской авиации всего-то через две недели после нашей встречи.

Теперь, когда я слышу окуджавского «Лёньку Королёва», с горечью думаю, что эта песня именно о нём... «Не для Лёньки сырая земля».

* * *

Из всего деревенского стада наша коровка Малинка была самая красивая. Каштановой масти с белой звёздочкой на лбу, белым нагрудником и белыми носочками над копытцами, рога небольшие, словно короной украшали её голову. Когда ранним утром бабуля провожала её, я ещё спала, но вечером всегда встречала, держа в руке кусочек присоленно-

го хлеба. Малинка останавливалась, лакомилась гостинцем и благодарно облизывало моё лицо тёплым шершавым языком. Я вела её в маленький хлевушок. Там уже стояло ведёрко с тёплым пойлом – остатками еды и разными очистками. Бабуля, усевшись на скамеечку, мыла Малинке вымечко и, насухо вытерев его, начинала дойку. Струйки молока звонко вжикали, а я гладила коровку по шелковой шее и рассказывала, как мы прожили день, какие появились новости.

Наверное, у ребёнка, который живёт среди взрослых без сверстников, родительский инстинкт зарождается в общении с добрыми и ласковыми домашними животными, нашими младшими братьями. Я очень любила Малинку.

И вдруг грянула беда, откуда её не ждали. Мы с бабулей работали на нижнем огороде. Носили воду из речки и поливали капусту. Видя, что я притомилась, бабуля подбадривала меня: «У зимы рот большой, да и Малинка обрадуется капустному листу».

Закончив поливать, медленно пошли по тропинке к улице. И тут я увидела, что клубы пыли, вздыбленные прошедшим стадом, уже далеко, бросилась бежать. Малинки нигде не было. Заглянула в хлев. Там, низко опустив голову, стояла моя коровка. На спине у неё зияла глубокая рана, виднелась белая кость, по бокам текла кровь. Пришёл ветеринар, осмотрел вздрагивающую Малинку и сказал:

– Кончилась твоя коровка, Кузьминична. На крестце кость никогда не срастётся. Зачахнет животное. Пока

не поздно, сдавай её на мясо.

Я уговорила бабулю оставить Малинку. В стадо её гонять перестали. Лечили, чем только могли. Коровка наша плохо ела, давала все меньше молока. Наконец, рано утром бабуля разбудила меня: «Алечка, иди попрощайся с Малинкой».

Моя милая красавица стояла, низко опустив голову, рога были опутаны веревкой. Малинка всё понимала. Я крепко обняла ее за шею и зарыдала. Из глаз страдальицы градом ка- тились крупные, как стеклянные бусы, слёзы. В фиолетовых глазах застыла невыразимая тоска. Бабуля потянула веревку. Коровка жалобно замычала и, нехотя переступая ногами в белых носочках, поплелась следом за ней.

Я плакала навзрыд весь день. Бабуля пришла к вечеру. Тя- жело села на лавку, положила на стол тряпочку, в ней, тру- бочкой скатанные, лежали деньги. Это было всё, что оста- лось от Малинки. Я уткнулась в старушечьи колени и ещё пуще зарыдала. Бабуля гладила меня по голове и тихо при- говаривала: «Ничего, внученька, надо пережить и эту беду. Ведь господь не даёт креста выше наших сил. Как-нибудь выдюжим».

Не знала бабуля, не ведала, что не успеет закрыться дверь за одним горем, как тут же обрушится на нас другое.

Обессилев от слёз, я уснула зыбким тревожным сном. И вот снится мне, будто плыву я над омутом. Вдруг чья-то большая тяжелая рука ложится мне на голову и со всей силой опускает на дно. Не могу дышать. В страхе просыпаюсь, и...

мне не хватает воздуха... Его нет совсем. Сейчас разорвётся грудь. Всё... Конец. Кидаюсь к бабуле с отчаянным криком: «Я умираю»!

Так началась моя тяжёлая, непонятная болезнь, которая изнуряла меня по ночам: я задыхалась, сердце бешено колотилось, всё тело билось, как в лихорадке, леденели руки, ноги. Бабуля кропила меня святой водой, читала молитвы, поила отварами трав, но ничто не помогало. Засыпали к утру. Измождённые, днем мы были бессильными работниками. Огород зарастал бурьяном, нам грозила голодная зима. Отчаявшись самой справиться с горем, бабуля попросила почтальоншу отправить маме телеграмму, что я болею.

Нашу почтарку недаром звали Зинка-Востроумка. Шагая в райцентр, она трезво оценила ситуацию военного времени и нашей семьи и отбила категорический текст: «Аля умирает. Срочно выезжай». Случилось чудо: у бойкой Зинки приняли не заверенную никакой медициной телеграмму, а маму отпустили с работы. Поезда уже ходили плохо, и она кое-как, кое на чем, почти без вещей к началу августа добралась до нас.

Болезнь моя продолжалась. В деревню стали приходиться похоронки. От папы писем не было.

* * *

Какой злодей погубил нашу Малинку? – мучились мы в догадках. Спросили всех соседей. Нет, никто ничего не ви-

дел. Пошли к пастуху деду Степану, который жил на краю деревни. Шли с тяжелым сердцем: ему первому принесли похоронку на сына. Дед сидел на лавке возле избы. Бабуля ему в пояс поклонилась:

– Прими наше душевное сочувствие твоему горю, Степан Иваныч.

Дед сокрушенно покачал головой:

– Какой хороший, работающий был сын, а теперь вот остались четверо его сирот. Ума не приложу, как жить... И про твою беду знаю, Кузьминична.

– Степан Иваныч, может ты кого видел?

– Нет, от пыли дорожной и слёз ничего не приметил.

Выбежал его внук Витюшка, мой ровесник, с дедом в подпасах всё лето ходит. Я к нему с расспросами. Витюшка задумался:

– А чё? Тебя возле избы не было, Малинка постояла у калитки и пошла в проулок по меже. Да-а... А ей навстречу Митюня Самохин шкандыбал... Тяпка у него в руках была.

– Он её тяпкой ударил?

– Не знаю... Не видел...

Теперь нам всё стало понятно. Митюня Самохин... Злобный мужичонка. Лодырь, горлопан, всем указчик. В детстве ему телегой переехало ногу. Стал он хромым, на весь мир обиженным человеком и лютым завистником. А что с него теперь возьмешь? Вина негодяя не доказана. Моё сердце разрывалось от такой несправедливости.

На деньги, полученные за Малинку, бабуля хотела купить на базаре козу. Но моя болезнь отняла у неё последние силы. А когда приехала мама, деньги уже превратились в пустые бумажки.

Внезапность войны не ввела людей нашей деревни в ступор. Чего они только на своём веку не повидали! Жили ещё старики, помнившие японскую войну; было много тех, кто участвовал в империалистической; народ пережил гражданскую, страшный голод 1921 года, антоновщину, жестоко глупое раскулачивание, безграмотную коллективизацию. Сразу же во всей округе с прилавков исчезли самое необходимое: соль, спички, мыло, свечи, керосин, продукты. Кто-то сообразил сделать припасы, но свалившиеся на нашу семью несчастья оттеснили скороспешные заботы, а когда очнулись, было уже поздно. Бабуля сокрушенно повторяла: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего».

* * *

Прибывали эвакуированные из Белоруссии, Смоленской, Брянской, Калужской областей. Их расселяли в избах, которые были посправнее, попросторнее, малолюднее. Напротив нас, через улицу, жила Федосья Ильинична Лобкова, маленькая, сухонькая, верткая старушка, все звали ее Фенечкой. Домик у хозяйюшки крохотный, но всегда будто вчера побелен, славился он и чудо-печкой: топки она требовала мало, а тепла давала много. К ней-то и попросились

на постой две молодые женщины, две сестры – Ляля и Лёля, по фамилии Лебедевы. Скоро соседи узнали их интересную историю. Девочки-погодки росли в профессорской семье, мать и отец преподавали в Смоленском инженерно-строительном институте. Сестры были очень дружны и вместе пошли учиться на инженеров. Однажды на студенческом вечере познакомилась с двумя лётчиками, братьями-близнецами Лебедевскими. Вскоре в один день сыграли две свадьбы. А тут – война. Братья получили назначение в боевую летную часть. Фронт стремительно приближался к Смоленску. Ляля и Лёля решили эвакуироваться, но не в дальние края: все Лебедевы были уверены, что скоро фронт откатится на запад, и они вернутся домой.

Зима в 41-м году настала очень рано. Уже в ноябре всю бушевали метели, трещали морозы. У меня не было никакой теплой одежды. Разворошив сундуки, мама умудрилась на руках сшить какое-то подобие пальтишка и стёганые матерчатые сапожки. Сверху я надевала старый дедушкин шубный пиджак, влезала в его же валенки 45-го размера, укрывалась вязаным платком и становилась похожей на забавное пугало, которое медленно двигалось на негнущихся ногах. До школы путь неблизкий, из дому приходилось выходить рано. Горячего морковного чая с картофельной оладьей хватало ненадолго. Но чтобы кто-то брал с собой в тряпочке кусок хлеба или сухарь, перекусить на переменке, такого и в помине не было.

Из школы изо всех сил торопилась домой, успеть застать теплые щи. Вот двигаю ногами в огромных валенках, как в снегоступах, а сама во все глаза гляжу на дорогу. Не обронил ли кто кусочек хлеба? О! Вон впереди явно горбушка, облепленная снегом. Спешу, пыхчу, наклоняюсь, беру в руки... Лошадиный котях! И дальше всё то же. Теперь-то уж точно знаю, что котях, но голод искушает: а вдруг!

Дома меня ждут. Бабуля ставит чугунок с варевом, кладёт в миску тёплую картошку. Пусть всё несолёное, пусть без масла, а всё равно вкуснота.

Уроки делаю при коптилке. Тетрадкой служит толстая книга «Речи Плеханова» (на собраниях сочинений Ленина и Сталина писать не разрешалось). Чернила сотворялись из сажи.

Закончив с уроками, коптилку сразу же гасила – даже такую «электроэнергию» приходилось экономить. Укладывались по своим лежанкам, но не спали, слушали, как бабуля рассказывала про старые времена. А рассказывать она была большая мастерица. То до смеху доведёт, то до слёз. Под её голос я засыпала... И спала крепко до самого утра, давая спать и маме, и бабуле.

А моя тяжелая болезнь? Она потихоньку отступала. Помог случай. Однажды бабуля вспомнила, что жил когда-то в Карай-Салтыках (деревня от нас в двенадцати верстах) знаменитый земский врач Дамир, человек дара божьего. К нему даже из Тамбова приезжали. Хворобу любую, как рукой,

снимал. Он был и терапевт, и хирург, и владел необыкновенной силой внушения.

Стала мама у всех про него спрашивать. Кто говорил, что и не слышал о таком, а кто – будто он уж давно умер. Вдруг на базаре, услышав такой разговор, проходившая мимо женщина удивилась: «Почему это он умер? Живёт при нашей больнице, только уж очень старенький».

На другой же день отправились мы с мамой в Карай-Салтыки, разыскали необыкновенного доктора. Он поставил меня перед собой, деревянной трубочкой послушал сердце, спину, постучал по локтям и коленкам. Внимательно взгляделся в глаза, своими цыплячьими сухими пальчиками погладил меня по голове и сказал: «Дитяtko дорогое, нет в тебе никакой болезни». Представляю, какие удивленные были у меня глаза. «Да, да! Ты здоровая девочка. Только тебя запугал страх смерти. А ты его не бойся. Смотри вокруг себя и примечай всё хорошее, всё красивое, а на плохое не обращай внимания. Лекарства я тебе никакого не пропишу. Лечить ты будешь себя сама. Как только почувствуешь, что страх тебя душить начинает, сразу найди себе интересное занятие, он и уйдёт. Но строго-настрого на всю жизнь запомни одно: тебе никогда нельзя ни сильно радоваться, ни сильно горевать. Ну, иди с Богом!»

Так я стала учиться быть здоровой.

* * *

23 ноября. Мой день рождения. Мама ещё затемно разбудила меня, поздравила, вручила подарки от себя и от бабули: блокнот из настоящей белой бумаги, карандаш, два кусочка сахара, пестренькие шерстяные варежки и носочки. Я чувствовала себя принцессой на большом празднике, хотя внешне всё было обычно: понедельник, дорога в школу и домой в дедовых валенках по сугробам. Однако моё королевское высочество было встречено столом, накрытым расшитой скатертью, горницу освещала керосиновая лампа, на торжественный обед подана пшённая каша. Перебирая подарки, вкушая угощение, сидя рядом с дорогими мне людьми, я понимала: вот это и есть счастье.

Ночью долго не могла уснуть, переживая вновь события этого дня, горько сожалея, что папа не видит, какая я стала большая. С мыслями о папе задремала и сквозь зыбкий сон увидела себя в нашем московском дворе возле забора, который отгораживал соседний двор. Несколько досок в заборе сломаны и сквозь широкий пролом видно низкое строение с большим окном, забранном тяжёлой решеткой. Я осторожно подхожу к окну и вижу: там, за решеткой, сидит папа в натальной солдатской рубашке, сложив на коленях руки. Лицо его очень красивое, но грустное и, как мел, белое. Забор мешает мне близко подойти к нему, тогда я протягиваю руку и зову его домой. Папа слабым голосом отвечает: «Нет, дочка, я сейчас не могу выйти отсюда, не моя воля». Спрашиваю: «Папа, когда же ты придешь?» Отвечает: «Приду, когда

ты пойдешь в школу». На этих папиных словах я очнулась. И не пойму, что это было, ведь я будто въявь разговаривала с папой.

Тихонько разбудив маму и бабулю, рассказала им, как я видела папу. Проговорили до утра, решив, что через вещий сон даёт знак, что он в плену, но вернётся. Только когда? Это оставалось тайной.

Теперь, нарушая хронологию событий, переносусь в 1945 год. Москва. 15 сентября. Воскресенье. Мы с мамой в нашей маленькой комнате на Домниковской. Я читаю вслух гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», мама вяжет на спицах платок-паутинку. Раздаётся стук в дверь. На наш голос дверь открывается, и входит папа. На нём просторная куртка, поношенная шляпа, за спиной котомка. Немая сцена оцепенения длится недолго. Я с криком, мама со слезами бросаемся к папе и, крепко обнявшись, все вместе плачем навзрыд.

Уже после, немного придя в себя, папа рассказал, какое невероятное явление спасло его от гибели. В плену, в концлагере, он был членом подпольного комитета, работа которого состояла в том, чтобы помочь людям выжить в тех тяжелейших условиях, не уронить честь советского человека. 22 ноября 41-го года кто-то донес на него, что он вёл антинемецкую пропаганду, говорил, будто Москву не сдали. На другой день утром его поставили перед строем, громко объявили: этот русский – агитатор против немецкой армии

и заслуживает наказания. К нему подошли два охранника и стали зверски избивать, пока не решили, что пленному капут. Безжизненное тело оттащили в конец лагерного двора и сбросили в ров, присыпав землёй. Там он пролежал до ночи и вдруг услышал мой голос: «Папа, папа, где ты? Пойдем домой. У меня сегодня день рождения». То ли в бреду, то ли в зыбком сознании он прохрипел, что не может, нет у него сил. Но мой голос настойчиво звал: «Пойдем, пойдем! Я помогу тебе! Давай руку!» Собрав все силы, папа выкарабкался из рва, прополз несколько метров и потерял сознание.

Утром, когда колонна пленных подходила к лагерным воротам, кто-то увидел лежащего человека. Догадались. Подошли. Признали. «С возвращением тебя, Василий Иванович». И отнесли в барак.

До конца войны папу переводили из одного концлагеря в другой, пока не оказался он в Западной Германии. Здесь его освободили американцы. Долог и труден был путь домой. Проверки, комиссии, допросы... Очные ставки... Вот и опоздал он в свою семью к Дню Победы, а пришел только к началу учебного года, когда я пошла в восьмой класс.

* * *

Зима 41—42 года была не только лютая, но и выюжная. За ночь избы заметало до крыш. Встав рано утром, мама брала лопату и, слава богу, что дверь открывалась в сенцы, начинала прорывать тоннель к улице. Выбравшись на доро-

гу, смотрела, где вьётся дымок. Увидев его, с железной баночкой, по пояс в снегу, добиралась за угольками. Потом такое же путешествие совершалось к колодцу, из которого надо было исхитриться достать ведро воды и донести его до избы.

Наша Коноплянка – село большое, да не где-нибудь в тьмутаракани, куда ворон костей не заносит, а в пяти километрах от райцентра, в десяти – от железной дороги, но люди жили там, как наши предки в XVII веке – ни электричества, ни телефона, ни радио, ни медпункта, ни почты, ни бани, ни избы-читальни. Была церковь, и ту сломали. Вечерами собирались соседи в теплой Фенечкиной избенке. Ляля и Лёля заботливо рассаживали гостей по сундукам и лавкам. Как эвакуированным, им выдавали керосин. Висевшая под потолком десятилинейная лампа ярко освещала горницу. Почтальонша Зина приносила им «Правду», самые главные новости из которой зачитывались громким голосом и с выражением. Потом переходили к обсуждению сельских событий.

Однажды в начале декабря на второй странице газеты мы увидели большой снимок совсем юной девушки, лежащей раздетой на снегу. Её сняли с виселицы. Голова с коротко остриженными тёмными волосами откинута назад. Прекрасное, спокойное лицо. Над статьей крупный заголовок – «Таня». В ней военный корреспондент Лидов рассказывал о том, как в селе Петрищево под Москвой немцы схватили юную партизанку, зверски, огнём и штыком пытали её, в одной ру-

башке, босую, выводили на сорокоградусный мороз. Но девушка стойко держалась на допросах, не выдав своих товарищей. Утром согнали жителей села смотреть её казнь. Партизанка бесстрашно взошла на помост. Она обратилась к народу с призывом уничтожить врагов, верить в победу, которая скоро придет.

В ту ночь я не могла уснуть. Меня переполняло горячее желание выразить потрясшую всё моё существо силу мужества и трагичную красоту человеческого подвига. Я искала особенные слова. Как-то сами собой они стали складываться в стихи. От сильного волнения начался приступ удушья, сердце бешено колотилось. Никогда не забуду того момента, когда я грозным шёпотом приказала болезни отступить, уйти совсем, ведь сейчас я была рядом с Таней и шла вместе с ней её крестным путем. Моё дыхание успокоилось и я продолжала выстраивать строчки:

*Глухая ночь. Деревня спит
Тяжелым сном порабощенья.
В засаде девушка стоит,
Ждет роковой минуты миценья
За разоренную страну,
За гибель мирного народа
Она готова жизнь отдать
Лишь бы скорей пришла свобода.*

Через некоторое время «Правда» напечатала целую поло-

су о подвиге партизанки. В статье «Кто была Таня?» рассказывалось о московской школьнице Зое Космодемьянской, о том, как она училась, каким была честным, бескомпромиссным человеком, как любила русскую литературу. Уже в 18 лет она была личностью.

Статью читали во всех классах на уроках. Я выучила её почти наизусть. Зоя стала моей героиней, которой я старалась подражать во всём. И писала о ней поэму.

* * *

Наше село находится на южной границе Тамбовской области. Вдоль чистой и быстрой реки Вороны растут густые леса – последняя зеленая полоса. Дальше на много-много верст расстилается необъятная степь, которая переходит в Саратовскую область. Спокон века степняки жили справно: земли у них немеряные – бери, сколько можешь обработать; держали много разной скотины. Однако было плохо с одеждой – нигде не купишь. Поэтому жители окрестных сёл во все трудные времена ходили в степь обменивать носильные вещи на продукты.

Как-то, сидя вечером у Фенечки, пожаловались маме сестры Ляля и Лёля, что приближается Новый год, а встретить его нечем. Рассказала мама, что в селе Красное Колено живет её родная тетя Ганя, добрая и гостеприимная. Одна беда – дорога дальняя, верст 30, но, как линейка, прямая. Если выйти затемно, к вечеру можно добраться до места.

И сёстры решились отправиться в путешествие. Перетряхнули все свои наряды, уложили в санки – пошли. Ко всеобщему удивлению их поход оказался удачным. К Новому году были сестры Лебедевы и с блинами, и с салом, и с куриной лапшой. Но запасы скоро кончились. Приближался другой большой праздник – День Красной Армии, уж его-то жены военных летчиков не могли не отметить. Снова стали собираться в степь. Всё складывалось, как нельзя лучше: дни прибавлялись, даже солнце проглядывало, снег уплотнился. Вдруг, перед самым выходом у Лёли началась ангина с высокой температурой. Сестра категорически заявила, что пойдет одна. Чего ей бояться?

Как ни уговаривали Лялю отложить путешествие, она всё-таки пошла. Её ждали на третий день. Ляля не вернулась. Поиски ничего не дали. Она пропала среди пути, не дойдя до степного села. Сбилась ли с дороги? Напали ли на неё волки? Встретился ли злой человек? Всё осталось тайной.

Недели через две на имя Ляли пришло письмо от друзей её мужа, в котором они сообщали, что Михаил Лебедев не вернулся с задания. Так война унесла жизни двух красивых молодых людей.

* * *

Печальную историю Ромео и Джульетты знала и Коноплянка. Только произошла она в русской деревне, и действующих лиц звали Иван и Вера. В начале 20-х годов из Красной

Армии вернулся домой Ваня Храмов. Когда уходил на службу, Верочка была совсем ещё девчонка, а теперь стала первой красавицей, вокруг которой увивалось много кавалеров. Ваня – высокий, кареглазый, улыбчивый – был настойчивее всех. Верочка выбрала его, и стали они готовиться к свадьбе. Соперники не раз угрожали Ивану, требовали отступить, но он в ответ улыбался. И вот перед самым сговором, когда жених в расшитой рубашке сидел у окна Верочкиной избы, грянул выстрел. Рана оказалась не смертельной, но очень тяжелой. Невеста выхаживала жениха. Молодые люди ещё крепче полюбили друг друга, и как только Ваня стал выздоравливать, сразу же повел невесту под венец.

Зажили Храмовы своим домом. Один за другим рождались дети. И всё девочки. Четыре дочери! Перед самой войной родился долгожданный сын, как две капли воды похожий на отца. Иван Константинович не помнил себя от счастья. Вовочка только-только начал сидеть, обложенный подушками, как началась война и сорокачетырёхлетнего отца пятерых детей отправили на фронт, где вскоре он и погиб.

Трудно было бы выжить семье Храмовых, если бы не молокоястая корова Буланка. Но от неё же пришло и несчастье. Первые дни после отёла корова даёт не молоко, а молозиво, жирное и, как холодец, густое. Наголодавшиеся и истощенные две младшие девочки шести и четырех лет, Любочка и Симочка, тайком от матери залезли в погреб, достали молозиво и наелись досыта. Ночью у обеих начались силь-

ные боли в животе. Мать знала, чем это грозит и кинулась искать подводу. Пока будила председателя, пока запрягали лошадь, в путь тронулись утром по талому снегу. Симочка умерла дорогой, Любочка дожила до больницы, но не выдержала сложной операции.

Хоронили их вместе. Два гробика провожала до кладбища вся деревня.

* * *

Да! Коноплянка утопала в горе, как зимой утопала в снегу. Не было дома, где бы ни оплакивали мужа, отца, сына, брата. А похоронки всё приходили и приходили. Но уже возвращались отвоевавшие калеки, привыкая к своему безручью, безножью, с застрявшими в теле осколками и пулями. Исподволь начинала собираться «улица» – вечерняя сходка молодежи на кругу возле клуба. Только теперь там верховодили девчата да пацаны-подростки, которые лихо брэнчали на гитарах, мандолинах, балалайках. Нарботавшиеся за день девушки бойко отбивали дробь, пересыпая их звонкими задорными частушками. Бурлила в молодом теле радость жизни и вера в победу. Несмотря ни на что.

Однако лето 42-го года оказалось для наших мест очень тревожным. Войска стягивались к Сталинграду. Как-то раз среди июльского дня, когда мы, школьники, работали на табачной плантации, увидели большую колонну военных. Это

был полк на марше. Все бросились к дороге. Нам навстречу шли бойцы в выгоревших добела гимнастерках и пилотках, на ногах обмотки и грубые башмаки. Впереди трое командиров и солдат с зачехленным знаменем. Бойцы были в пыли такой густой, что волосы у всех казались седыми, лица – серыми, морщинистыми, уставшими. Никаких разговоров, только топот шагов. Колонна двигалась очень долго. Её головная часть уже скрылась в степи, а обоз ещё не вступил в село. И это только один полк... Тогда я воочию представила себе, какая же силища наших людей будет сражаться с врагом! И сколько их погибнет...

Фронт приближался к нам. Бомбили Котовск, Шехмань, Кочетовку. Тайно (но в деревне ничего не бывает тайного) организовывалось партизанское подполье.

Однажды, когда я шла вдоль огородной межи, навстречу из-за дома вынырнул Митюня Самохин. Скособоченный, корявый, он воровски огляделся по сторонам, приблизился вплотную, схватил меня за ворот, больно сжал горло, впился змеиными глазами и прошипел: «Вот так мы скоро будем душить вас, пионерчиков, а ваши колхозики развеем по чистому полю...» Митюня грязно выругался, резко отшвырнул меня и зашкандыбал прочь.

Но моя бабуля не слыла бы на всю Коноплянку грозной Кузьминичной, если бы, услышав рассказ своей внучки, стерпела такую обиду. Высокая, тучная, она, как танк, двинулась к митюниной избе. За шкуру выволокла мужичонку

на улицу, мертвой хваткой схватила за грудки и, трясая, как тряпичную куклу, обрушила на мерзавца отборные перлы деревенской брани, а напоследок ещё и отхлестала по морде своей большой тяжелой ладонью. Митюня уполз, в слезах и соплях, глотая угрозы.

* * *

Село не решалось покидать родные места. Как оставить дом, нажитое не одним поколением хозяйство, куда девать скотину? Некоторые из эвакуированных семей, собрав жалкие пожитки, намеревались двигаться на восток, в пензенские края. Мы тоже держали свой маленький совет. Как нам быть? Остаться при немцах – верная гибель. Уходить? Как? Куда? У бабули больные ноги. Она не ходок. Обсудив всё, бабуля сказала: «Я остаюсь. Здесь прошла моя жизнь. Здесь, на кладбище, похоронены шесть моих ребятишек, здесь упокоился дорогой мой Иван Степанович. Здесь и моё место. А вы собирайтесь».

Мама была уверена, что лучше всего идти в степь. Там нас никто, кроме тети Гани, не знает. Она приютит. Потом двинемся дальше. Дедушка Мажаров сделал из моего двухколесного велосипеда и короба тележку, пристроил лёгкие оглобельки. Уложили пшено, вареную картошку, морковь, кое-какую одежонку, подстилку, на чем лечь, одеялку, чем укрыться. Простившись с бабулей, рано-рано на зорьке тронулись мы в путь. Мама шла в оглобельках, я сзади подпирала

ла тележку. Июльский день в выгоревшей от солнца степи – адское пекло. Ни кустика, ни деревца... И ни одной живой души. Растрескавшаяся земля, как раскаленная сковородка.

Уже половину пути прошли, когда вдруг услышали конский топот. Испугались. Остановились. Издалека узнали отчаянную Зинку-Востроумку. Скачет, кричит. Думаем, с бабулей беда случилась. А Зинка подскакала, ругает нас: «Вы что? С ума сошли, в одиночку по степи? Мало вам Лялиной гибели?! Вертайтесь назад! Сегодня в газете сообщение – фронт развернулся от нас, все силы стягиваются к Сталинграду!» Зинка дёрнула поводья, лошадь махнула хвостом нам по лицам, и всадница скрылась в дорожной пыли.

Откуда только взялись силы? Без отдыха мы прочесали жаркую степь почти до самого дома, когда на небе стали появляться темные облака. Потом они собрались в тяжелую свинцовую тучу, вдалеке загрохотал гром. На последнем издыхании мы тащили тележку. Гроза обрушилась на нас ливнем. Дверь избы, не запертая на щеколду, отворилась, и мы вместе с тележкой рухнули в сенцах. Бабуля несла нам сухую одежду.

Ночью, тесно прижавшись к теплому родному плечу, я тихо сказала: «Мамочка, какие же мы счастливые»...

* * *

Дошёл до нас слух, что в Москву начинают возвращаться нужные городу люди. По вызовам. Тут же вскоре полу-

чаем письмо от нашей соседки. Пишет, что дворник, которому мама оставила ключи от комнаты (на случай, если кто из родных по военным делам будет ехать через Москву), надумал кого-то в ней прописать. Мы загорюнились, не зная, что делать. Удача пришла от Лёли, тяжелораненый муж которой находился в московском госпитале и шел на поправку. Он просил жену приехать к нему, нужные документы уже выслал. Лёля, не раздумывая, собралась в путь. Зная нашу ситуацию, предложила взять меня с собой. Двенадцатилетняя худенькая девчонка спрячется за мешками и чемоданами и, бог даст, доберёмся до Москвы.

Сказать по правде, мне не хотелось расставаться с мамой и бабулей. Я ведь уже стала сельской жительницей: умела косить, жать серпом, молотить цепом, толочь в ступе пестом, прясть из кудельки пряжу, а потом веретеном скручивать нитки, умела вязать на спицах и крючком, только вот доить корову так и не научилась.

В товарном вагоне, прячась по углам, пять суток ехали мы до Москвы. И надо же такому случиться, что вышли мы на площадь перед Казанским вокзалом как раз в тот момент, когда начался первый за всю историю войны победный салют за освобождение Орла и Белгорода. Народ ликовал, люди плакали от радости. Плакали и мы с Лёлей, забыв, что вокзальная шпана может умыкнуть наши пожитки.

До дома рукой подать. Ключ в кармане. Представляла, как вместо грязного, затхлого товарняка окажемся с моей

гостьей в уютной красивой комнате. Открыли замок, щелкнул выключатель. Нашим глазам предстал каземат с голыми стенами и висящей на шнуре тусклой лампочкой. Я, будто оправдываясь, стала объяснять Лёле, что на стене висел большой голубой ковёр, кровать была покрыта плюшевым одеялом. Вот здесь стоял нарядный туалетный столик из красного дерева, над ним – часы с мелодичным боем, рядом – этажерка с замечательными книгами, а здесь был чёрный кожаный диван с резными деревянными полочками, тут – горка с красивой посудой. Теперь же всей-то мебели в комнате был ободранный тяжелый стол, два стула и пустой чужой гардероб с разбитым зеркалом.

Лёля обняла меня: «Не расстраивайся! Есть в квартире вода и туалет – это главное. Остальное приложится».

Утром я побежала к дворнику за ключом. Не удержалась, с укором спросила:

– Дядя Егор, а где же все наши вещи?

Он помолчал, побряхтел, потом злобно закричал:

– Вы там жировали-пировали, как сыр в масле катались, а мы тут голодали. Что же я ваше добро за здорово живешь должен был сохранять? Скажи спасибо, что стены целы.

Лёля с утра до позднего вечера находилась при муже. Я бегала в домоуправление, получила продовольственные карточки, записалась в школу, которая теперь находилась далеко – в трех трамвайных остановках. Наведалась и в свою родную тургеневскую библиотеку-читальню, там мне обрадова-

лись.

Уставшая, настрадавшаяся Лёля засыпала мгновенно, а я, набегавшаяся, голодная, не могла уснуть. Меня одолевали мысли. Война, думала я, взрывает душу человека. В мирной жизни все кажутся нормальными, ровными, как прочный гладкий лёд, под которым скрывается и кристально чистая вода, и тухлые, гнилые стоки. Но вдруг стихия ломает ледяной панцирь, и является настоящая суть: каков ты есть человек – благородная личность или подлец. Ведь вот хорошо помню, как незадолго перед войной утром открывается дверь, и в нашу тринадцатиметровую комнату входят шесть человек с мешками. Это папин односельчанин дядя Егор, его жена тетя Дуня, их взрослая дочь Нюрка и ещё трое ребят-ишек. Погорельцы. Просят папу их пристроить.

Сначала живут у нас. Потом папа дяде Егору и тете Дуне находит места дворников, Нюрку устраивает уборщицей, временно размещает семью в красном уголке, наконец, им дают жильё. Со слезами благодарности дядя Егор заверяет папу, что почитает его, как Бога, а тетя Дуня целует маме руки... Что же война с такими людьми сделала? Как она превратила затаённого завистника Митюню Самохина в открытого изверга? Как некоторые колхозники, имеющие власть на селе, мешками тащили с токов и из амбаров собранное зерно, не оставляя сиротам и вдовам ни горсти на заработанные трудодни?

Я часто спрашиваю себя: почему из прожитых мною вось-

мидесяти пяти лет (благополучных, интересных) годы войны – голодные, холодные, бедственные – всё же самые счастливые, самые благодатные? Наверное, потому, что вся атмосфера, аура, окружавшие нас, были озоном, питавшим нас заботой, лаской, сопереживанием, доброжелательством. Не почувствовать унижения от нищеты, хоть как-то умалить голод, поверить в радостный завтрашний день – к этому стремились все, кто общался с детьми. Чистая вода смывала всю грязь.

* * *

Зима 1943-го. В Ростокинском доме пионеров открывает-ся не что-нибудь, а студия балетных танцев. Ведет её великоле-пная Анна Ричардовна Бомзе, в далёком прошлом репети-тор балетной группы Большого театра. Высокая, сухонькая, с седыми букольками, в черном бархатном, по моде Сереб-ряного века, платье с белоснежным кружевным жабо, укра-шенном камеей. И мы – кто в залатанном, кто в заштопан-ном, кто с чужого плеча «туалете», разучиваем танец падепа-тинер. Анна Ричардовна показывает, как нужно изящно тя-нуть кончик ноги, как изогнуть спину, как ладонь свободной руки должна напоминать нежный взмах крыла летящей пти-цы. Звучит аккорд пианино. Пары начинают шаркать ногами в валенках под одобрителные возгласы Анны Ричардовны: «Bien! Avance! Charman! А сейчас мы с вами будем разучи-вать полонез – главный танец королевских балов!»

Звучит торжественная музыка. Путаюсь в фигурах, но не смущаясь, мы душой парим под высокими сводами прекрасного зала и со стороны гордо видим себя наряженными дамами и кавалерами. А то, что мы голодны и в обносках, – это всё улетучивается под звуки помпезного полонеза.

* * *

Однажды писателя Виктора Астафьева спросили, чего бы ему больше всего хотелось во время войны? Он ответил: «Есть и спать». Наверное, для тех, кто жил в тылу, недосып не составлял большого бедствия, а вот голод донимал сильно, особенно подростков. Москва старалась делать всё, чтобы поддержать нас: в школе на большой перемене нам выдавали по бублику или ломтику хлеба с кусочком сахара, особенно истощенным давали УДП – талоны на дополнительное питание, которые мы расшифровывали по-своему – «умрешь днем позже». Летом бесхозных детей собирали в городские пионерские лагеря. Мы сдавали свои продовольственные карточки, и нас кормили баландой на первое и тушеными овощами на второе. 250 граммов хлеба выдавалось на весь день. Утром и вечером в титане был кипяток, и у каждого – своя кружка. У многих ребят не хватало силы воли делить кусок на порции, и весь хлеб они съедали в обед.

Спали мы на матрасах прямо на полу. Чтобы не разносили грязь, нас после подъема выпроваживали во двор. Заняться кроме чтения было нечем, голодные мальчишки вяло пе-

ребрасывали футбольный мяч. Но как только трубил горн, подавая сигнал на обед, все оживлялись, подтягивались, надевали на головы склеенные из плотной красной бумаги пилотки, выстраивались в колонну по три человека. Впереди горнист, за ним – развернутое красное знамя, справа и слева – барабанщики. Мы выходили на середину Ярославского шоссе, звонкий мальчишеский голос запевал:

*Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.*

Громко, задорно вся колонна подхватывала припев. Мы с гордостью шагали мимо прохожих, а те с улыбкой смотрели нам вслед. Рабочая столовая, где нас кормили, была далековато. Мы успевали спеть и «Махорочку», и «Вася-Василёк», и «Марш артиллеристов». На обратном пути пелось с ещё большим азартом, хотя сытости едва хватало, чтобы дотянуть до лагеря.

Не могу не рассказать случая, который впечатался в память на всю жизнь. Однажды, нарушив запрет, я побежала за чем-то в свою спальню, открыла дверь и увидела... На матрасе сидит девочка, в одной руке у неё белая булка, а в другой – пол-литровая бутылка молока. Мама девочки стоит у окна. Девочка кусает булку и запивает её молоком.

Увидев это, я превратилась в соляной столб. Опомнилась

с трудом. Закрыла дверь и медленно пошла по коридору, стараясь не спугнуть, сохранить перед своими глазами увиденное чудо.

Москва 80-х. Фирма «Рур-Газ» отмечает грандиозным банкетом в ресторане «Метрополь» своё 10-летие. Всё: декор зала, угощение – на грани воображимого. По периметру стен на столах – тушки лосося, головки и бруски всевозможных заморских сыров, горки экзотических фруктов; бармены при разных напитках, баристы – при любых сортах кофе... Я ходила мимо всей этой фантастики, удивлялась, но никакой изысканный продукт не мог затмить в моей памяти белой булки, запиваемой молоком из бутылки.

* * *

Я пришла в больницу, где работала мама, и рассказала, что меня в домоуправлении грозятся сдать в детдом как беспризорную. Главврач тут же написал бумагу, наставили на ней штемпелей и печатей, санитарка сбегала на почту и отправила заказное письмо. К концу августа мама была уже в Москве и сразу же стала работать.

Встречались мы с ней поздно вечером. У мамы – частые дежурства, а я после всех учебных и общественных дел бежала в свою любимую «Тургеневку», где сделав уроки, запомним читала и русскую, и европейскую литературу.

Я оказалась незаменимой помощницей старшей пионервожатой. Организовывали тимуровские отряды, дежурства

в «Склифе», где был развернут большой госпиталь. Меня «распределили» в конференц-зал, вплотную заставленный койками. Отдельно, у самой сцены стояли две кровати, похожие на кибитки, затянутые белой материей. Внутри на железных дугах светили электрические лампочки. Улучив момент, я заглянула внутрь и увидела совсем голого человека, густо обмазанного лекарством, похожим на дёготь. Потом мне рассказали, что это два танкиста. Они горели в танке. За их жизнь сейчас борются врачи.

Самая главная моя работа – писать письма под диктовку раненых. Почерк у меня четкий, грамматику я знала на «отлично», и скоро стала нарасхват, не всегда ко всем успевала. Так родилась идея «Пионерской почты». Из семиклассниц я отобрала самых грамотных, с хорошим почерком и привела в мой конференц-зал. Потом девочки стали ходить во все палаты. За часы дежурства скапливалась целая гора треугольников, которые мы опускали в почтовые ящики. Нас все хвалили и даже написали в газете. Я выступала по радио в «Пионерской зорьке».

Только два бойца никогда не звали нас к себе. Из белых кибиток слышались лишь стоны. Сначала исчезла из зала одна кибитка, потом другая. Мы знали: на родину этих бойцов придут не наши письма с четко написанными адресами, а военкоматовские похоронки.

Пионерская почта продолжала оперативно работать. Освобождались города и сёла, мы узнавали новые места

на карте нашей Родины, делая успехи в изучении географии.

* * *

Осень 1944 года. Крым только недавно освобождён от немцев. Всё в развалинах. Но ЦК комсомола на весь мир сообщает, что знаменитая пионерская здравница «Артек» вновь живет, и в скором времени здесь соберутся дети – посланцы областей и краев нашей страны: юные участники войны, отличники учебы, герои трудового фронта.

Как хотелось осознать, что близится мирное время, скоро придет победа. Пускай сейчас на южном берегу Крыма дуют холодные ветра, пусть бушуют на море штормы, пусть нет ни яркого солнца, ни золотых пляжей, нет абсолютно ничего, что составляло всемирную славу этого кусочка земли, и всё же есть теперь слово «Артек» и вера в то, что всё будет, как прежде.

Нас было 25 счастливых, награжденных путевками в «Артек». Вагон прицеплен к воинскому эшелону. Всю дорогу, с утра до позднего вечера, мы стояли у окон и смотрели, что случилось с нашей землей. В полях – искореженные танки и пушки, вместо деревень черные печные трубы, вокзалы в руинах. Ни людей, ни скотины, только горластые вороны.

В Симферополе нас посадили в грузовик, накрыли брезентом, шофер сказал: «Чтобы от серпантинной езды не закружилась голова – пойте». И мы всю извилистую дорогу драли глотки. Замолчали только, когда из-за поворота вдруг

открылось огромное море. Оно было свинцово-серым, с него дул леденящий ветер. Я видела море впервые.

Мальчиков поселили в Нижнем лагере, девочек – в Верхнем, в Суук-Су. Никаких торжественных построений, горнов, поднятий флагов, рапортов. По берегу даже в тихую погоду гулять не разрешалось. (В следующую за нами смену две девочки нарушили запрет и погибли, подорвавшись на mine, которую вместе с тинной выбросило море.)

Режим нашей жизни был однообразным: утром – завтрак жиденькой постной кашей, потом – учеба (нестрогая, кое-какая), обедали в подвале разбомбленного клуба. Иногда из-за плохой дороги или поломки машина с кастрюлями застревала, и обед получался вместе с ужином. Но и в этом случае обилия еды никто не замечал. Всё остальное время мы работали на расчистке территории, орудуя лопатами, метлами, таская носилки и ведра. Мы, первопроходцы, жили мечтой: каким красивым увидят «Артек» ребята, которые приедут сюда после Победы!

Вечером, в палате, усевшись в углу прямо на пол и тесно прижавшись друг к другу, мы рассказывали разные истории. Особенно любили слушать Наташу Музыкину из Белоруссии. Все жители их села ушли к партизанам. Десятилетняя Наташа вместе со своим дедушкой Прокопом входила в разведгруппу. Дедушка прикидывался дряхлым, глухим и полуслепым старичком-побирушкой. Наташа в рваной одежке была его поводырем. Ходили по поселкам, всё

высматривали, все слушали, передавали важные сообщения. Самым страшным было выбраться из леса, пройти незамеченными через открытое поле и войти в поселок; так же и обратно. А вдруг слежка? Хвост? И обнаружится местонахождение лагеря. Тогда всем гибель. Наташу наградили медалью «За отвагу».

23 ноября 1944 года мне исполнилось 14 лет. За обедом все встали, поздравили меня аплодисментами, а повар подарил горячий початок кукурузы, щедро посыпанной солью. Мы прибежали в палату, забились в угол и склевали кукурузу до последнего зернышка. А потом стали петь.

* * *

Километрах в двух от нас находился Дом отдыха для выздоравливающих бойцов. Там мы и встретили Новый 1945 год. Веточки сосны, бантики из бинтов, цветные бумажки, танцы под баян, пляски... Во всем чувствовалось наступление победного времени. Очень понравился молоденький морячок Саша. Под гитару он спел сердечную, незнакомую нам фронтовую песню. В ней говорилось о том, как один парнишка и девушка Нина полюбили друг друга, но война разлучила их. Нина стала медсестрой. И однажды в раненом морячке узнала своего друга. Припев мы сразу выучили все:

*Ах, Нина-Ниночка, моя блондиночка,
Родная девушка, ты помнишь обо мне.*

Моя любимая, незаменимая.

Подруга юности, товарищ по войне.

* * *

На обратном пути перед нами за окном плыла всё та же печальная пустынная земля, покрытая снегом. Я неотрывно смотрела на черно-белую картину, пытаюсь представить себе, какой ад был здесь совсем недавно и сколько нужно положить труда, чтобы возродить города и сёла. Недавняя девочка, ребенок, обожженный войною подранок, я теперь была уже совсем взрослым человеком, ответственным за себя и за всё, что мне предстояло в жизни.

Сергей ПОНОМАРЁВ

Сказка о неразделённой любви

Стрекоза сидела на лопасти винта. Ей очень нравилось это место. С него хорошо было видно всё вокруг. Когда всходило солнце, у стрекозы загорался один зелёный глаз и зелёными лучами искрился серый асфальт вокруг и белые водяные брызги поливальных фонтанчиков на газонах.

На неё очень любила смотреть собака. Типичная дворняга с задорно загнутым хвостом и веселой остренькой мордой, которая всегда улыбалась. Она была очень похожа на Лайку. Но не на ту, на которой ездят эскимосы. А на ту самую, которую так и звали Лайка. Которая первая из живых существ полетела в космос. И которая погибла сразу же, как в нём оказалась. За это люди увековечили её имя и морду на пачках сигарет. Пожилые люди, которые ещё помнили зелёную пачку с серенькой собачкой-этикеткой, узнавали лайку и ласково звали её Лайкой. Молодым тоже нравилась эта жизнерадостная собачка, всегда улыбочивая и приветливая. Они гладили её по грязной шёрстке и подкармливали остатками от обедов в заводской столовой.

Собака была им очень признательна. Но нравилась ей только стрекоза. Она любила смотреть на неё снизу вверх.

И хотя на заводе были и другие стрекозы, в том числе очень большие, железные и трескучие, Лайке нравилась только эта. За стройное тело, за большие переливчатые крылья, за выпуклые изумрудные глаза. Поев свои косточки, хрящики и сухожилия, Лайка неизменно бежала смотреть на свою любимую стрекозу. Её торжественное величие завораживало собачку почище, чем удав кролика.

Иногда собака приносила какую-нибудь особо вкусную сахарную мозговую косточку, клала её под лопасть и, призывно виляя хвостом, приглашала стрекозу отведать лакомство. Но стрекоза гордо косила большим круглым зелёным глазом и не снисходила до своего горячего обожателя. Уж слишком низко он находился и слишком уж суетился где-то далеко под лопастью. Её больше привлекало то, что сверху: корпуса цехов, вздыбленное вверх здание инженерного центра, большие трескучие железные стрекозы, которые летали над заводом, и на которые она очень хотела походить.

Собака же внизу всё равно продолжала обожать красивую стрекозу, улыбаться ей и пытаться уговорить её вместе побегать по заводу. Попрыгать и понюхаться. Особенно около столовой. Но, как вы прекрасно понимаете, любовь её была неразделенной и потому обреченной на неудачу. И действительно, вскоре их разлучили.

Работники АХО прогнали Лайку большой железной палкой. Точнее трубой, которую они взяли в одном из цехов вертолётного завода. Охране велели больше не впускать Лайку,

поскольку кто-то в заводууправлении посчитал, что животным не место на предприятии «Рособоронпрома».

Стрекоза же осталась на своем месте – на лопасти винта. Потому что она тоже, как и все вертолётны на заводе, была железной. И представляла собой (вместе с лопастью винта) памятник создателям вертолетов. А памятник, как мы знаем, нельзя ни посадить, ни прогнать палкой.

5 сентября 2013

Томилино

Двапистолета

Лесная поляна с волейбольными площадками. Одна из достопримечательностей подмосковных Раздор. Здесь собираются туристы поиграть в волейбол. Но и не только. Потом, когда устанут (а люди в основном пожилые), славные шестидесятники, физики и лирики хрущевской оттепели, начинают отдыхать уже конкретно. А это значит, что распаковываются рюкзаки и сумки, достаётся снедь и термосы. Часто и что покрепче. Откуда-то появляется гитара, а то и две. И начинается весёлое застолье. После третьей рюмки хочется поговорить. И вот тут за нашим столом регулярно первое место держит Двапистолета.

Кто он такой? Да безобидный чудак. Лет сорока. Неженатый. И ни разу не был. Бездетный. Звать Стас. Долго не могли дать ему адекватное прозвище. То дамы пенсионного возраста прозвали его Страсть. Не от любвеобильности, а от страховидной внешности: тощий, костлявый, сутулый, глаза горят лихорадочным блеском. Потом было у него прозвище Попрыгунчик. Уж больно он хорошо прыгал. У сетки при ударе и блоке. И даже умудрялся совершать акробатические скачки при приёме, причем, совершенно лишние. Беспонтовые, как скажет сегодняшняя молодежь.

Но истинное и прочно прилипшее к нему прозвище возникло года через полтора. Когда он взял в обыкновение фи-

лософствовать у костра. Обычно этим никто не занимается. У костра либо пьют, либо едят, либо поют, когда кто-то играет на гитаре. А вот философствовал один Стас. Причем рассуждал он не о чем-то конкретном, а о жизни в целом. Он выбирал себе старушку подревнее, которой, в общем, всё равно, о чем с ней беседует молодой человек, и раздражался очередным бесконечным спичем, как метко заметил один из наших волейбольных старичков, о произрастании чечевицы на асфальте.

– Жизнь, в общем, пустая и глупая шутка. Она бессмысленна. И не я, Стас, это придумал. Великий Лермонтов написал:

*А жизнь, как помотришь с холодным вниманьем
вокруг, —*

Такая пустая и глупая шутка...

Вопрос только в том, кто это пошутил? Бог? Да нет, прости Господи, никакого бога! Придумали его люди.... Ведь если подумать холодной головой, то на небесах должно быть огромное клериальное общежитие. Судите сами: там должен быть сам Христос с папой Савоофом и братом Святым Духом. И Аллах с ними. Ну куда же без него! Он же акбар! Но и вечно счастливый Будда тоже должен быть где-то рядом. Потом отдельные комнаты должны быть у всех духов тундровых народов, у всех деревянных божков Полинезии и Центральной Африки. Где-то там, в подвальчике притаил-

ся злой Вуду. Покровитель всех синангог Яхве тоже должен иметь на небесах свою отдельную Стену Плача.

Интересно, они там, на небесах, мирно уживаются или враждуют, как некоторые их тупые последователи на земле?

Я считаю, что христианам крупно повезло, что римляне решили Христа распять. Если бы, не дай бог, они решили его повесить, то сегодня адепты Христа просто молились бы на виселицу!

Интересно, все эти мусульманские смертники – они прямо к Аллаху попадают? Или иногда заблуживаются и оказываются на территории Христа с родственниками? Представляю, что там делают с их душами! Вот уж воистину – в бога душу мать!

Он переводил дыхание, хлопал стакан чая, или поддерживал очередной тост, закусывал тем, что на столе нашел, но тут же подхватывал свою основную темку о бренности жизни:

– Великий Афанасий Фет писал:

*И если жизнь – базар крикливый бога,
То только смерть – его бессмертный храм!*

Попробуете с этим поспорить? Ну, живем мы тут с вами! Ну и что? Всё равно все умрем. Рано или поздно. Как шутят некоторые остроумцы, жизнь – это неизлечимая болезнь с неизбежно летальным исходом, передающаяся по-

ловым путем! А есть или нет этот самый загробный мир – неизвестно. Потому что оттуда ещё никто не возвращался и не рассказал ни одного эпизода своей загробной жизни...

Когда б не неизвестность после смерти...

Это слова великого Шекспира. Он вложил их в уста своего любимого Гамлета в центральном монологе «Быть или не быть?» А если бы была ясность после смерти, то и страха перед смертью не было бы. И люди бы стрелялись пачками, топились бы бригадами и вешались трудовыми коллективами. А так как они не знают, то живут – хлеб жуют, женятся, рожают детей, которые рожают своих детей, а те своих. И остановить этот процесс невозможно.... Удивительно однообразная жизнь!

И чего дробить эту жизнь на эпизоды? Надо побыстрее с ней расстаться.... Как сказала великая Марина Цветаева,

Пора, пора, пора творцу вернуть билет...

...Не нужно мне ни дыр ушных, ни вещей глаз

На Твой безумный мир один ответ – отказ!

Но вот один вопрос: а как? Давиться – противно, топиться – страшно, прыгать с высоты – жутко, травиться – больно. Лучше всего застрелиться! Быстро и надежно! И лучше всего из двух пистолетов сразу.... Для надежности...

И вот тут первый раз прозвучало последнее прозвище Стаса, ставшее для него постоянным, – Двапистолета. И теперь по-другому его никто и не зовёт. «Двапистолета сегодня

придет?» «Двапистолета для равновесия играет в нашей команде!» «Налейте скорее Двапистолету, нам надо отдохнуть от его болтовни!»

Он не обижался. Он, в общем, был незлобивый человек. И ему в этой жизни нужны были только слушатели.... А в разморённом от долгой игры, подогретом спиртным и разжалобленном романсами околотовлейбольном лесном сообществе он всегда находил кого-нибудь, кто бы согласился его слушать...

*– Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть...*

Это уже сказал великий Николай Степанович Гумилёв. И сказал это в окопах Первой мировой. Там было полно людей, которые не хотели умирать. Но умирали. А он хотел умереть, но не умер на войне. Это позднее, уже в мирное время, его расстреляли большевики.... Ирония судьбы!

А вот Маяковский – застрелился! Но из одного пистолета. Я думаю, потому, что у него просто не было второго.... А вдруг осечка? А вдруг промахнешься? А вдруг только подранишь себя? Нет! Для надежности надо стреляться сразу из двух! Один в правый висок, а другой – в затылочную часть слева. Тут уж точно достигнешь нужного эффекта – умрешь. Или, как говаривали наши далеки предки, – отправишься к праотцам....

К этому стёбу уже привыкли, махали на него рукой. Ну, охота человеку порассуждать! Играет он в волейбол неплохо, продукты на стол носит, в общественных трудах типа постройки навеса, разведения костра и заготовки дров – участвует. Чего ещё надо? Людей с тараканами в голове в лесных волейбольных группах хватает: за кем-то до сих пор КГБ бегают, у кого-то ребёнок от Муслима Магомаева, кто-то открыл никому не известную планету, кто-то откопал дотопе недоступного русского языческого бога...

Как-то я отправился в длительную командировку, которая всё затягивалась. В результате я провёл в чужом городе целых три месяца. Когда я вновь вернулся в лоно лесного волейбола, то обратил внимание, что чего-то не хватает на нашей площадке. Вскоре я понял, что не хватает длинного, тощего чудака с горящими глазами.

– А где Двапистолета? – спросил я одного из старожилов.

– А этот... Месяц назад – застрелился. Некоторые из наших ездили на похороны.

– Неужели из двух пистолетов?!

– Нет. Из одного.... Двух, видимо, так и не смог достать.

1 сентября 2013

Томилино

В борьбе за это

Мужичонка был хоть куда. Точнее мужик. А ещё точнее – мужчина. Щеголевато одет: начищенные ботинки с острыми носами, отглаженные брюки с такими складками, что, казалось, они со свистом разрезают воздух; из-под небрежно растегнутого черного плаща с белоснежным шарфиком выглядывал серый в полоску костюм, увенчивающийся белой рубашкой с красным галстуком.

На публику он смотрел со снисходительностью первого парня на деревне, пришедшего на танцы с целью оторвать на кругу самую что ни на есть красивую телку.

Правда, публика была своеобразная. Вместо принаряженных девушек вокруг него были по преимуществу старушечки. Ибо именно они составляют постоянный контингент, осаждающий кабинеты районной поликлиники. И не столько, наверное, из-за того, что у них действительно что-то болит (даже если и болит на самом деле), а исключительно для общества. Злая цивилизация отобрала у бедных женщин их главную многовековую отдушину – завалинку. Ту самую завалинку, куда вечером можно было выйти из дома с мешком семечек и тут уж перемыть косточки всем деревенским: кто с кем, кто от кого, кто уже, а кто ещё, кто за кем, а кто со всем... Ну, на этом благородном фоне и себя показать: а я такая растакая... блин, какая... но мой поезд ушел...

Теперь к ужасу бесплатной медицины такой завалинкой совершенно естественно стала очередь, скажем, к единственному во всей округе хирургу. А тут старушенциям развлекалочка – мужик! Да ещё и симпатичный, щеголеватый. Да и не старый, вроде как...

– Мне, дамочки, не на приём! Мне надо всего лишь направление забрать, – обратился к почтеннейшему обществу мужчина. – Ещё с утра его закинул, там анализы должны вписать, и мне можно ложиться в больницу на операцию... паховая грыжа у меня....

Вот так всё сразу и выпалил. И правильно сделал! А то бы старушенции, воспитанные в суровом советском обществе, помешанном на социальной справедливости, его бы и не пропустили.... А тут типа как разжалобил.

Члены Общества Очереди нестройно закивали. Действительно, мужик видный. И верно, не врёт...

– А что ж с тобой за беда приключилась? Вроде как не старый ещё, – начала завалинковский диалог самая бойкая.

– Да лет мне уже шестьдесят! – охотно отозвался мужик, ожидая, когда от районного хирурга выползет, загребая клешнями, очередная пациенточка.

– Так разве это старость! – отозвалась самая пожилая из Общества Очереди. – Это ж поди ещё и молодостью называть можно....

– Можно-то можно! – весело подхватил темку мужик. – Но из всего моего класса, из всех пацанов, а их двадцать че-

ловек было, на сегодняшний день только двое остались: я да Сашка Тарасов... Остальные уже не живут.

– На войне, что ли, побилло? – спросила самая глупая из членов Общества Очереди.

– Да никакой войны не надо! – уже грустнее отозвался мужик. – На войны мы не попали: отечественная – так ещё не родились, а Афган – так уже старые были... Зато – подготовка к войне! Нормативы... В противогазах да при полной боевой выкладке, в противохимическом защитном комплекте – этакие зеленые Деды Морозы – в жару и холод, сухость и мокрость – марш-марш – марш-бросок... Кишки просто вынимали! И как бодро ни запевай строевую: /...Лишь крепче поцелуй, / Когда вернемся с лагерей,/ мы потом неделями еле ноги волочили. Марш-бросок в полной боевой – это такая ядовитая штука! Как писал поэт Михаил Кульчицкий:

Марш!

И глина в чавкающем топоте

До мозга костей промерзших ног

Наворачивается на чоботы

Весом хлеба в месячный паек.

Замполиты из кожи вон лезли... А учили как? Родина! Партия! Социализм! Светлое будущее! Пели:

И как один умрём

В борьбе за это.

Вот мы и поумирали... Кто как. Кто в драке. Кто от инфаркта. Кто от инсульта. Кто от рака. А кто и спился.... А я вот живой! И на операцию мне надо, на операцию. Господи, когда же эта... выйдет!

Вскоре очередная пациентка вышла, и мужичонка ужом просочился в дверь. Но тут же и выскочил. Вид у него был растерянный:

– Надо же, анализы не нашли.... Да я же их саморучно сестре выкладывал сегодня утром.... А без них направление не дают. Да где же эта сестра?!

Сестра – белоснежная глыба – вскоре объявилась и сказала, что ничего на столе не нашла. И что надо опять всё проходить, поскольку иначе направление на операцию не дадут.... Сходите в регистратуру, может быть, они там.

Мужик сходил в регистратуру, там его анализов не было. Потом сходил в лабораторию, там его анализов тоже не было. Следом посетил заведующую лабораторией, и та тоже их не обнаружила.

– Да как же это так? Опять всё проходить! Да посмотрите лучше! Я же, повторяю, сам сегодня утром положил их на стол! Мне так сказали....

Белоснежная глыба удалилась за дверь кабинета. В неё же прокондѣхала очередной член Общества Очереди. Но неожиданно быстро «сестренка» появилась обратно. Заслонив собой весь дверной проём, она виновато проговори-

ла:

– Нашла я. Там под бумагами. Больно глубоко закопали...
Я сейчас выпишу направление...

Мужик приосанился, опять принял вальяжную позу, поправил и так аккуратно свисавший с шеи белый шарфик. Хотел что-то сказать «девушкам»: что-то очень приятное, обнадеживающее, что-то удивительно жизнерадостное, как всё то, что он всегда говорил своим женщинам всю свою долгую жизнь ухажера и делателя детей. Но...

Неожиданно лицо его скривилось гримасой боли, стройное ещё тело согнулось пополам и, схватившись за пах, он тускло процедил:

– Всё, разговаривать больше не могу: кишки из меня полезли...

21 февраля 2013

Томилино

Проулок Пономарёва

В Томилино почти все улицы какие-то умные люди назвали именами русских писателей-классиков. Есть улица Горького. И никто не переименовывает. На улице Пушкина даже поставили памятник великому поэту. Хотя он никогда и не бывал в этих местах. Правда, когда маленьких детей спрашиваешь: «А это кто сидит?», они, поморщив лобик, отвечают: «Томилин!» Ну, не признают они в нём автора «Сказки о царе Салтане» и вступления к поэме «Руслан и Людмила» «... Там русский дух, там Русью пахнет».

Я живу на улице Карамзина. Чуть дальше в область параллельно проходит улица Аксакова. С улицы Карамзина до улицы Аксакова и дальше идет переулок Гоголя. Вот на углу двух последних стоял до поры до времени трехэтажный деревянный многоквартирный дом, который все называли «поссоветовским». Очевидно, это чудо архитектурной мысли в популярном в советское время архитектурном стиле «барако» строился на деньги томилинского поселкового Совета. Там даже печное отопление было! Это могли построить, скорее всего, в далекие 20—50-е годы прошлого века. Жили там не слишком богатые люди. Священник местной церкви жил. Участковый милиционер тоже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.